

Юлиан Семенов
**СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ**

★ ★ ★ ★ ★
КИНОЗАМ



Режиссер Татьяна Лиознова, 1973

Штирлиц

Юлиан Семенов

Семнадцать мгновений весны

«Азбука-Аттикус»

1968

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Семенов Ю. С.

Семнадцать мгновений весны / Ю. С. Семенов — «Азбука-Аттикус», 1968 — (Штирлиц)

ISBN 978-5-389-26298-0

Юлиан Семенович Семенов (1931–1993) – русский писатель, историк, поэт, журналист, автор культового романа «Семнадцать мгновений весны» (1970). На основе написанного самим Семеновым сценария был снят 12-серийный телефильм, премьера которого состоялась в 1973 году. Картина имела оглушительный успех и стала вечно живым хитом отечественного телевидения. Макс Отто фон Штирлиц (полковник советской разведки Максим Максимович Исаев), образ которого на экране воплотил Вячеслав Тихонов, завоевал огромную любовь миллионов читателей и зрителей, стал по-настоящему народным героем. В фильме был занят блестящий актерский ансамбль (достаточно упомянуть Олега Табакова, Леонида Броневского, Ростислава Плятта, Василия Ланового, Екатерину Градову), а режиссер Татьяна Лиознова виртуозно перевела на язык кинематографа текст замечательного литературного произведения.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-26298-0

© Семенов Ю. С., 1968

© Азбука-Аттикус, 1968

Содержание

«Кто есть кто?»	9
«Кем они меня там считают?»	22
Информация к размышлению	28
Информация к размышлению	32
Информация к размышлению	38
Информация к размышлению	44
Расстановка сил	47
Информация к размышлению	50
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Юлиан Семенов
Семнадцать мгновений весны
Роман

© Ю. С. Семенов (наследники), 2024

© Оформление.

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024

Издательство Азбука®

* * *

★ ★ ★ ★ ★
КИНОЗАЛ

Юлиан Семенов

**СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ**



АЗБУКА

Санкт-Петербург

Памяти отца посвящаю

«Кто есть кто?»

Сначала Штирлиц не поверил себе: в саду пел соловей. Воздух был студеным, голубоватым, и, хотя тона кругом были весенние, февральские, осторожные, снег еще лежал плотный и без той внутренней, робкой синевы, которая всегда предшествует ночному таянию.

Соловей пел в орешнике, который спускался к реке, возле дубовой рощи. Могучие стволы старых деревьев были черные; пахло в парке свежемороженой рыбой. Сопутствующего весне сильного запаха прошлогодней березовой и дубовой прели еще не было, а соловей заливался вовсю – щелкал, рассыпался трелью, ломкой и беззащитной в этом черном, тихом парке.

Штирлиц вспомнил деда: старик умел разговаривать с птицами. Он садился под деревом, подманивал синицу и подолгу смотрел на пичугу, и глаза у него делались тоже птичьими – быстрыми, черными бусинками, и птицы совсем не боялись его.

«Пинь-пинь-тарарах!» – высвистывал дед.

И синицы отвечали ему – доверительно и весело.

Солнце ушло, и черные стволы деревьев опрокинулись на белый снег фиолетовыми ровными тенями.

«Замерзнет, бедный, – подумал Штирлиц и, запахнув шинель, вернулся в дом. – И помочь никак нельзя: только одна птица не верит людям – соловей».

Штирлиц посмотрел на часы.

«Клаус сейчас придет, – подумал Штирлиц. – Он всегда точен. Я сам просил его идти от станции через лес, чтобы ни с кем не встречаться. Ничего. Я подожду. Здесь такая красота...»

Этого агента Штирлиц всегда принимал здесь, в маленьком особнячке на берегу озера – своей самой удобной конспиративной квартире. Он три месяца уговаривал обергруппенфюрера СС Поля выделить ему деньги для приобретения виллы у детей погибших при бомбежке танцоров «Оперы». Детки просили много, и Поль, отвечавший за хозяйственную политику СС и СД, категорически отказывал Штирлицу. «Вы сошли с ума, – говорил он, – снимите что-нибудь поскромнее. Откуда эта тяга к роскоши? Мы не можем швырять деньги направо и налево! Это бесчестно по отношению к нации, несущей бремя войны».

Штирлицу пришлось привезти сюда своего шефа – начальника политической разведки службы безопасности. Тридцатичетырехлетний бригаденфюрер СС Вальтер Шелленберг сразу понял, что лучшего места для бесед с серьезными агентами найти невозможно. Через подставных лиц была произведена купчая, и некий Бользен, главный инженер «химического народного предприятия имени Роберта Лея», получил право пользования виллой. Он же нанял сторожа за высокую плату и хороший паек. Бользеном был штандартенфюрер СС фон Штирлиц.

...Кончив сервировать стол, Штирлиц включил приемник. Лондон передавал веселую музыку. Оркестр американца Глена Миллера играл композицию из «Серенады Солнечной долины». Этот фильм понравился Гиммлеру, и в Швеции была закуплена одна копия. С тех пор ленту довольно часто смотрели в подвале на Принц-Альбрехтштрассе, особенно во время ночных бомбежек, когда нельзя было допрашивать арестованных.

Штирлиц позвонил сторожу и, когда тот пришел, сказал:

– Дружище, сегодня можете поехать в город, к детям. Завтра возвращайтесь к шести утра и, если я еще не уеду, заварите мне крепкий кофе, самый крепкий, какой только сможете...

12.2.1945 (18 часов 38 минут)

«– Как вы думаете, пастор, чего больше в человеке: человека или животного?»

- Я думаю, что того и другого в человеке поровну.
- Так не может быть.
- Может быть только так.
- Нет.
- В противном случае что-нибудь одно давно бы уже победило.
- Вы упрекаете нас в том, что мы апеллируем к низменному, считая духовное вторичным. Духовное действительно вторично. Духовное вырастает как грибок на основной закваске.
- И эта закваска?
- Честолюбие. Это то, что вы называете похотью, а я называю здоровым желанием спать с женщиной и любить ее. Это здоровое стремление быть первым в своем деле. Без этих устремлений все развитие человечества прекратилось бы. Церковь немало приложила сил к тому, чтобы затормозить развитие человечества. Вы понимаете, о каком периоде истории церкви я говорю?
- Да-да, конечно, я знаю этот период. Я прекрасно знаю этот период, но я знаю и другое. Я перестаю видеть разницу между вашим отношением к человеку и тем, которое проповедует фюрер.
- Да?
- Да. Он видит в человеке честолюбивую бестию. Здоровую, сильную, желающую отвоювать себе жизненное пространство.
- Вы не представляете себе, как вы не правы, ибо фюрер видит в каждом немце не просто бестию, но белокурую бестию.
- А вы видите в каждом человеке бестию вообще.
- А я вижу в каждом человеке то, из чего он вышел. А человек вышел из обезьяны. А обезьяна суть животное.
- Тут мы с вами расходимся. Вы верите в то, что человек произошел от обезьяны; вы не видели той обезьяны, от которой он произошел, и эта обезьяна ничего вам не сказала на ухо на эту тему. Вы этого не пощупали, вы этого не можете пощупать. И верите в это, потому что эта вера соответствует вашей духовной организации.
- А вам Бог сказал на ухо, что он создал человека?
- Разумеется, мне никто ничего не говорил, и я не могу доказать существование Божье, это недоказуемо, в это можно только верить. Вы верите в обезьяну, а я верю в Бога. Вы верите в обезьяну, потому что это соответствует вашей духовной организации; я верю в Бога, потому что это соответствует моей духовной организации.
- Здесь вы несколько подтасовываете. Я не верю в обезьяну. Я верю в человека.
- Который произошел от обезьяны. Вы верите в обезьяну в человеке. А я верю в Бога в человеке.
- А Бог, он что – в каждом человеке?
- Разумеется.
- Где же он в фюрере? В Геринге? Где он в Гиммлере?
- Вы задаете трудный вопрос. Мы же говорим с вами о природе человеческой. Разумеется, в каждом из этих негодяев можно найти следы павшего ангела. Но к сожалению, вся их природа настолько подчинилась законам жестокости, необходимости, лжи, подлости, насилия, что практически там уже ничего и не осталось человеческого. Но я в принципе не верю, что человек, рождающийся на свет, обязательно несет в себе проклятие обезьяньего происхождения.
- Почему проклятие обезьяньего происхождения?
- Я говорю на своем языке.
- Значит, надо принять божеский закон по уничтожению обезьян?
- Скорее всего, нет.

– Вы все время очень нравственно уходите от ответа на вопросы, которые меня мучают. Вы не дадите ответа „да“ или „нет“, а каждый человек, ищущий веры, любит конкретность, и он любит одно „да“ и одно „нет“. У вас же есть „да нет“, „нет же“, „скорее всего нет“ и прочие фразеологические оттенки „да“. Вот именно это меня глубоко, если хотите, отталкивает не столько от вашего метода, сколько от вашей практики.

– Вы неприязненно относитесь к моей практике. Ясно... И тем не менее вы прибежали из концлагеря ко мне. Как это увязать?

– Это лишний раз свидетельствует о том, что в каждом человеке, как вы говорите, наличествует и божественное, и обезьянье. Если бы во мне наличествовало только божественное, я бы к вам не обратился. Не стал бы убежать, я принял бы смерть от эсэсовских палачей, подставил бы им вторую щеку, чтобы пробудить в них человека. Вот если бы вам пришлось попасть к ним, интересно, вы бы подставили свою вторую щеку или постарались избежать удара?

– Что значит – подставить вторую щеку? Вы опять проецируете символическую притчу на реальную машину нацистского государства. Одно дело – подставить щеку в притче. Как я вам уже говорил, эта притча совести человеческой. Другое дело – попасть в машину, которая не спрашивает у тебя, подставляешь ты вторую щеку или нет. Попасть в машину, которая в принципе, в идее своей лишена совести... Разумеется, с машиной, или с камнем на дороге, или со стеной, на которую ты натыкаешься, нечего общаться так, как ты общаешься с другим существом.

– Пастор, мне неловко, – может быть, я прикасаюсь к вашей тайне, но... Вы что, были в свое время в гестапо?

– Ну что же я могу вам сказать? Я был там...

– Понятно. Вы не хотите касаться этого вопроса, ибо для вас это очень болезненный вопрос. А не думаете ли вы, пастор, что после окончания войны паства не будет верить вам?

– Мало ли кто сидел в гестапо.

– А если пастве шепнут, что пастора в качестве провокатора подсаживали в камеры к другим заключенным, которые не вернулись? А таких-то – вернувшихся, как вы, – единицы из миллионов... Не очень-то паства поверит вам... Кому вы тогда будете проповедовать свою правду?

– Разумеется, если действовать на человека подобными методами, можно уничтожить кого угодно. В этом случае вряд ли я смогу что бы то ни было исправить в моем положении.

– И что тогда?

– Тогда? Опровергать это. Опровергать, сколько смогу, опровергать до тех пор, пока меня будут слушать. Когда не будут слушать – умереть внутренне.

– Внутренне. Значит, живым, плотским человеком вы останетесь?

– Господь судит. Останусь так останусь.

– Ваша религия против самоубийства?

– Потому-то я и не покончу с собой.

– Что вы будете делать, лишенный возможности проповедовать?

– Я буду верить не проповедуя.

– А почему вы не видите для себя другого выхода – трудиться вместе со всеми?

– Что вы называете „трудиться“?

– Таскать камни для того, чтобы строить храмы науки – хотя бы.

– Если человек, кончивший богословский факультет, нужен обществу только затем, чтобы таскать камни, то мне не о чем говорить с вами. Тогда действительно мне лучше сейчас вернуться в концлагерь и сгореть там в крематории...

– Я лишь ставлю вопрос – а если? Мне интересно послушать ваше предположительное мнение – так сказать, фокусировку вашей мысли вперед.

– Вы считаете, что человек, который обращается к пастве с духовной проповедью, – бездельник и шарлатан? Вы не считаете это работой? У вас работа – это таскание камней, а я считаю, что труд духовный есть, мало сказать, равноправный с любым другим труд – труд духовный есть особо важный.

– Я сам по профессии журналист, и мои корреспонденции подвергались остракизму как со стороны нацистов, так и со стороны ортодоксальной церкви.

– Они подвергались осуждению со стороны ортодоксальной церкви по той элементарной причине, что вы неправильно толковали самого человека.

– Я не толковал человека. Я показывал мир воров и проституток, которые жили в катакомбах Бремена и Гамбурга. Гитлеровское государство назвало это гнусной клеветой на высшую расу, а церковь назвала клеветой на человека.

– Мы не боимся правды жизни.

– Боитесь! Я показывал, как эти люди пытались приходить в церковь и как церковь их отталкивала; именно паства отталкивала их, и пастор не мог идти против паствы.

– Разумеется, не мог. Я не осуждаю вас за правду. Я осуждаю вас за то, что вы показывали правду. Я расхожусь с вами в прогнозах на будущего человека.

– Вам не кажется, что в своих ответах вы не пастырь, а политик?

– Просто вы видите во мне только то, что укладывается в вас. Вы видите во мне политический контур, который составляет лишь одну плоскость. Точно так же, как можно увидеть в логарифмической линейке предмет для забивания гвоздей. Логарифмической линейкой можно забить гвоздь, в ней есть протяженность и известная масса. Но это тот самый вариант, при котором видишь десятую, двадцатую функцию предмета, между тем как с помощью линейки можно считать, а не только забивать гвозди.

– Пастор, я ставлю вопрос, а вы, не отвечая, забиваете в меня гвозди. Вы как-то очень ловко превращаете меня из спрашивающего в ответчика. Вы как-то сразу превращаете меня из ищущего в еретика. Почему же вы говорите, что вы – над схваткой, когда вы тоже в схватке?

– Это верно: я в схватке, и я действительно в войне, но я воюю с самой войной.

– Вы очень материалистически спорите.

– Я спорю с материалистом.

– Значит, вы можете воевать со мной моим оружием?

– Я вынужден это делать.

– Послушайте... Во имя блага вашей паствы – мне нужно, чтобы вы связались с моими друзьями. Адрес я вам дам. Я доверю вам адрес моих товарищей... Пастор, вы не предадите невинных...»

Штирлиц кончил прослушивать эту магнитофонную запись, быстро поднялся и отошел к окну, чтобы не встречаться взглядом с тем, кто вчера просил пастора о помощи, а сейчас ухмылялся, слушая свой голос, пил коньяк и жадно курил.

– С куревом у пастора было плохо? – спросил Штирлиц не оборачиваясь.

Он стоял у окна – громадного, во всю стену – и смотрел, как вороны дрались на снегу из-за хлеба: здешний сторож получал двойной паек и очень любил птиц. Сторож не знал, что Штирлиц – из СД, и был твердо уверен, что коттедж принадлежит либо гомосексуалистам, либо торговым воротилам: сюда ни разу не приезжала ни одна женщина, а когда собирались мужчины, разговоры у них были тихие, еда – изысканная и первоклассное, чаще всего американское, питье.

– Да, я там замучился без курева... Старичок говорун, а мне хотелось повеситься без табака...

Агента звали Клаус. Его завербовали два года назад. Он сам шел на вербовку: бывшему корректору хотелось острых ощущений. Работал он артистично, обезоруживая собеседников искренностью и резкостью суждений. Ему позволяли говорить все: лишь бы работа была

результативной и быстрой. Присматриваясь к Клаусу, Штирлиц с каждым днем их знакомства испытывал все возрастающее чувство страха.

«А может быть, он болен? – подумал однажды Штирлиц. – Жажда предательства тоже своеобразная болезнь. Занятно: Клаус полностью бьет Ломброзо¹ – он страшнее всех преступников, которых я видел, а как благообразен и мил...»

Штирлиц вернулся к столику, сел напротив Клауса, улыбнулся ему.

– Ну? – спросил он. – Значит, вы убеждены, что старик наладит вам связь?

– Да, это вопрос решенный. Я больше всего люблю работать с интеллигентами и священниками. Знаете, это поразительно – наблюдать, как человек идет на гибель. Иногда мне даже хотелось сказать иному: «Стой! Глупец! Куда?!»

– Ну, это уж не стоит, – сказал Штирлиц, – это было бы неразумно.

– У вас нет рыбных консервов? Я схожу с ума без рыбы. Фосфор, знаете ли. Требуют нервные клетки...

– Я приготовлю вам хороших рыбных консервов. Какие вы хотите?

– Я люблю в масле...

– Это я понимаю... Какого производства? Нашего или...

– «Или», – засмеялся Клаус. – Пусть это не патриотично, но я очень люблю и продукты, и питье, сделанные в Америке или во Франции...

– Я приготовлю для вас ящик настоящих французских сардин. Они в оливковом масле, очень пряные... Масса фосфора... Знаете, я вчера посмотрел ваше досье...

– Дорого бы я дал за то, чтобы взглянуть на него хоть одним глазом...

– Это не так интересно, как кажется... Когда вы говорите, смеетесь, жалуетесь на боль в печени – это впечатляет, если учесть, что перед этим вы провели головоломную операцию... А в вашем досье – скучно: рапорты, донесения. Все смешалось: ваши доносы, доносы на вас... Нет, это неинтересно... Занятно другое: я подсчитал, что по вашим рапортам, благодаря вашей инициативе было арестовано девяносто семь человек... Причем все они молчали о вас. Все без исключения. А их в гестапо довольно лихо обрабатывали...

– Зачем вы говорите мне об этом?

– Не знаю... Пытаюсь анализировать, что ли... Вам бывало больно, когда людей, дававших вам приют, потом забирали?

– А как вы думаете?

– Я не знаю.

– Черт его поймет... Я, видимо, чувствовал себя сильным, когда вступал с ними в единорство. Меня интересовала схватка... То, что будет с ними потом, – не знаю... Что будет потом с нами? Со всеми?

– Тоже верно, – согласился Штирлиц.

– После нас – хоть потоп. И потом, наши люди: трусость, низость, жадность, доносы. В каждом, просто-напросто в каждом. Среди рабов нельзя быть свободным... Это верно. Так не лучше ли быть самым свободным среди рабов? Я-то все эти годы пользовался полной духовной свободой...

Штирлиц спросил:

– Слушайте, а кто приходил позавчера вечером к пастору?

– Никто.

– Около девяти...

– Вы ошибаетесь, – ответил Клаус, – во всяком случае, от вас никто не приходил, я был там совсем один.

¹ *Ломброзо Чезаре* (1835–1909) – итальянский психиатр и криминалист, родоначальник антропологического направления в буржуазном уголовном праве.

- Может быть, это был прихожанин? Мои люди не разглядели лица.
- Вы наблюдали за его домом?
- Конечно. Все время... Значит, вы убеждены, что старик будет работать на вас?

– Будет. Вообще я чувствую в себе призвание оппозиционера, трибуна, вождя. Люди покоряются моему напору, логике мышления...

– Ладно. Молодчина, Клаус. Только не хвастайтесь сверх меры. Теперь о деле... Несколько дней вы проживете на одной нашей квартире... Потому что после вам предстоит серьезная работа, и причем не по моей части...

Штирлиц говорил правду. Коллеги из гестапо сегодня попросили дать им на недельку Клауса: в Кельне были схвачены два русских «пианиста». Их взяли за работой, прямо у радио-аппарата. Они молчали, к ним нужно было подсадить хорошего человека. Лучше, чем Клаус, не сыщешь. Штирлиц обещал найти Клауса.

– Возьмите в серой папке лист бумаги, – сказал Штирлиц, – и пишите следующее: «Штандартенфюрер! Я смертельно устал. Мои силы на исходе. Я честно работал, но больше я не могу. Я хочу отдыха...»

– Зачем это? – спросил Клаус, подписывая письмо.

– Я думаю, вам не помешает съездить на недельку в Инсбрук, – ответил Штирлиц, протягивая ему пачку денег. – Там казино работают, и юные лыжницы по-прежнему катаются с гор. Без этого письма я не смогу отбить для вас неделю счастья.

– Спасибо, – сказал Клаус, – только денег ведь у меня много...

– Больше не помешает, а? Или помешает?

– Да в общем-то – не помешает, – согласился Клаус, пряча деньги в задний карман брюк. – Сейчас гонорю, говорят, довольно дорого лечить...

– Вспомните еще раз: вас никто не видел у пастора?

– Нечего вспоминать – никто.

– Я имею в виду и наших людей.

– Вообще-то, меня могли видеть ваши, если они наблюдали за домом этого старика. И то – вряд ли... Я не видел никого...

Штирлиц вспомнил, как неделю назад он сам одевал его в одежду каторжника перед тем, как устроить спектакль с прогоном заключенных через ту деревню, в которой теперь жил пастор Шлаг. Он вспомнил лицо Клауса тогда, неделю назад: его глаза лучились добротой и мужеством – он уже вошел в роль, которую ему предстояло сыграть. Тогда Штирлиц говорил с ним иначе, потому что в машине рядом сидел святой – так прекрасно было его лицо, скорбен голос и так точны были слова, которые он произносил.

– Это письмо мы опустим по пути на вашу новую квартиру, – сказал Штирлиц. – И набросайте еще одно – пастору, чтобы не было подозрений. Это попробуйте написать сами. Я не стану вам мешать, заварю еще кофе.

Когда он вернулся, Клаус держал в руках листок бумаги.

– «Честность подразумевает действие, – посмеиваясь, начал читать он, – вера зиждется на борьбе. Проповедь честности при полном бездействии – предательство: и паствы, и самого себя. Человек может себе простить нечестность, потомство – никогда. Поэтому я не могу простить себе бездействия. Бездействие – это хуже, чем предательство. Я ухожу. Оправдайте себя: Бог вам в помощь». Ну как? Ничего?

– Лихо. Скажите, вы не пробовали писать прозу? Или стихи?

– Нет. Если бы я мог писать – разве бы я стал... – Клаус вдруг оборвал себя и украдкой глянул на Штирлица.

– Продолжайте, чудак. Мы же с вами говорим в открытую. Вы хотели сказать: умей вы писать, разве бы вы стали работать на нас?

– Что-то в этом роде.

- Не в этом роде, – поправил его Штирлиц, – а именно это вы хотели сказать. Нет?
- Да.
- Молодец. Какой вам резон мне-то врать? Выпейте виски, и тронем, уже стемнело, скоро, видимо, янки прилетят.
- Квартира далеко?
- В лесу, километров десять. Там тихо, отоспитесь до завтра...
- Уже в машине Штирлиц спросил:
- О бывшем канцлере Брюнинге он молчал?
- Я же говорил вам об этом – сразу замыкался в себе. Я боялся на него жать...
- Правильно делали... И о Швейцарии он тоже молчал?
- Наглухо.
- Ладно. Подберемся с другого края. Важно, что он согласился помогать коммунисту. Ай да пастор!

Штирлиц убил Клауса выстрелом в висок. Они стояли на берегу озера. Здесь была запретная зона, но пост охраны – это Штирлиц знал точно – находился в двух километрах, уже начался налет, а во время налета пистолетный выстрел не слышен. Он рассчитал, что Клаус упадет с бетонной площадки – раньше отсюда ловили рыбу – прямо в воду.

Клаус упал в воду молча, кулем. Штирлиц бросил в то место, куда он упал, пистолет (версия самоубийства на почве нервного истощения выстроилась точно, письма были отправлены самим Клаусом), снял перчатки и пошел через лес к своей машине. До деревушки, где жил пастор Шлаг, было сорок километров. Штирлиц высчитал, что он будет у него через час, – он предусмотрел все, даже возможность предъявления алиби по времени...

12.2.1945 (19 часов 56 минут)

(Из партийной характеристики члена НСДАП с 1930 года группенфюрера СС Крюгера:

«Истинный ариец, преданный фюреру. Характер – нордический, твердый. С друзьями – ровен и общителен; беспощаден к врагам рейха. Отличный семьянин; связей, порочащих его, не имел. В работе зарекомендовал себя незаменимым мастером своего дела...»)

После того как в январе 1945 года русские ворвались в Краков и город, столь тщательно заминированный, остался целехоньким, начальник имперского управления безопасности Кальтенбруннер приказал доставить к себе шефа восточного управления гестапо Крюгера.

Кальтенбруннер долго молчал, приглядываясь к тяжелому, массивному лицу генерала, а потом очень тихо спросил:

– У вас есть какое-либо оправдание – достаточно объективное, чтобы вам мог поверить фюрер?

Мужиковатый, внешне простодушный Крюгер ждал этого вопроса. Он был готов к ответу. Но он обязан был сыграть целую гамму чувств: за пятнадцать лет пребывания в СС и в партии он научился актерству. Он знал, что сразу отвечать нельзя, как нельзя и полностью оспаривать свою вину. Даже дома он ловил себя на том, что стал совершенно другим человеком. Сначала он еще изредка говорил с женой, да и то шепотом, по ночам, но с развитием специальной техники, а он, как никто другой, знал ее успехи, он перестал вообще говорить вслух то, что временами позволял себе думать. Даже в лесу, гуляя с женой, он молчал или говорил о пустяках, потому что в центре в любой момент могли изобрести аппарат, способный записывать голос на расстоянии в километр или того больше.

Так постепенно прежний Крюгер исчез; вместо него в оболочке знакомого всем и внешне ничуть не изменившегося человека существовал другой, созданный прежним, совершенно не знакомый никому генерал, боявшийся не то что говорить правду, нет, боявшийся разрешать себе думать правду.

– Нет, – ответил Крюгер, нахмурившись, подавляя вздох, очень прочувствованно и тяжело, – достаточного оправдания у меня нет... И не может быть. Я – солдат, война есть война, и никаких поблажек себе я не жду.

Он играл наверняка. Он знал, что чем суровее по отношению к самому себе он будет, тем меньше оружия он оставит в руках Кальтенбруннера.

– Не будьте бабой, – сказал Кальтенбруннер, закуривая, и Крюгер понял, что выбрал абсолютно точную линию поведения. – Надо проанализировать провал, чтобы не повторять его.

Крюгер сказал:

– Обергруппенфюрер, я понимаю, что моя вина – безмерна. Но я хотел бы, чтобы вы выслушали штандартенфюрера Штирлица. Он был полностью в курсе нашей операции, и он может подтвердить: все было подготовлено в высшей мере тщательно и добросовестно.

– Какое отношение к операции имел Штирлиц? – пожал плечами Кальтенбруннер. – Он из разведки, он занимался в Кракове иными вопросами.

– Я знаю, что он занимался в Кракове пропавшим ФАУ, но я считал своим долгом посвятить его во все подробности нашей операции, полагая, что, вернувшись, он доложит или рейхсфюреру, или вам о том, как мы организовали дело. Я ждал каких-то дополнительных указаний от вас, но так ничего и не получил.

Кальтенбруннер вызвал секретаря и попросил его:

– Пожалуйста, узнайте, был ли внесен Штирлиц из шестого управления в список лиц, допущенных к проведению операции «Шварцфайер». Узнайте, был ли на приеме у руководства Штирлиц после возвращения из Кракова, и если был, то у кого. Поинтересуйтесь также, какие вопросы он затрагивал в беседе.

Крюгер понял, что он слишком рано начал подставлять под удар Штирлица.

– Всю вину несущий один я, – снова заговорил он, опустив голову, выдавливая из себя глухие, тяжелые слова, – мне будет очень больно, если вы накажете Штирлица. Я глубоко уважаю его как преданного борца. Мне нет оправдания, и я смогу искупить свою вину только кровью на поле битвы.

– А кто будет бороться с врагами здесь?! Я?! Один?! Это слишком просто – умереть за родину и фюрера на фронте! И куда сложнее жить здесь, под бомбами, и выжигать каленым железом скверну! Здесь нужна не только храбрость, но и ум! Большой ум, Крюгер!

Крюгер понял: отправки на фронт не будет.

Секретарь, неслышно отворив дверь, положил на стол Кальтенбруннера несколько тонких папок. Кальтенбруннер перелистал папки и ожидающе посмотрел на секретаря.

– Нет, – сказал секретарь, – по возвращении из Кракова Штирлиц сразу же переключился на выявление стратегического передатчика, работающего на Москву...

Крюгер решил продолжить свою игру, он подумал, что Кальтенбруннер, как все жестокие люди, предельно сентиментален.

– Обергруппенфюрер, тем не менее я прошу вас позволить мне уйти на передовую.

– Сядьте, – сказал Кальтенбруннер, – вы генерал, а не баба. Сегодня можете отдохнуть, а завтра подробно, в деталях, напишите мне все об операции. Там подумаем, куда вас направить на работу... Людей мало, а дел много, Крюгер. Очень много дел.

Когда Крюгер ушел, Кальтенбруннер вызвал секретаря и попросил его:

– Подберите мне все дела Штирлица за последние год-два, но так, чтобы об этом не узнал Шелленберг: Штирлиц ценный работник и смелый человек, не стоит бросать на него тень. Про-

сто-напросто обычная товарищеская взаимная проверка... И заготовьте приказ на Крюгера: мы отправим его заместителем начальника пражского гестапо – там горячее место...

15.2.1945 (20 часов 30 минут)

(Из партийной характеристики члена НСДАП с 1938 года Холтоффа, оберштурмбаннфюрера СС (IV отдел РСХА):

«Истинный ариец. Характер – приближающийся к нордическому, стойкий. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Имеет отличные показатели в работе. Спортсмен. Беспощаден к врагам рейха. Холост. Связей, порочащих его, не имел. Отмечен наградами фюрера и благодарностями рейхсфюрера СС...»)

Штирлиц решил для себя, что сегодня он освободится пораньше и уедет с Принц-Альбрехтштрассе в Науэн: там в лесу, на развилке дорог, стоял маленький ресторанчик Пауля, и, как год и как пять лет тому назад, сын Пауля, безногий Курт, каким-то чудом доставал свинину и угощал своих постоянных клиентов настоящим айсбайном с капустой.

Когда не было бомбежек, казалось, что войны вообще нет: так же, как и раньше, играла радиолы, и низкий голос Бруно Варнке напевал: «О, как прекрасно было там, на Могельзее...»

Но освободиться пораньше Штирлицу так и не удалось. К нему зашел Холтофф из гестапо и сказал:

– Я совсем запутался. То ли мой арестованный психически неполноценен, то ли его следует передать вам, в разведку, поскольку он повторяет то, что говорят по радио эти английские свиньи.

Штирлиц пошел в кабинет к Холтоффу и просидел там до девяти часов, слушая истерику астронома, арестованного местным гестапо в Ванзее.

– Неужели у вас нет глаз?! – кричал астроном. – Неужели вы не понимаете, что все кончено?! Мы пропали! Неужели вы не понимаете, что каждая новая жертва сейчас – это вандализм! Вы все время твердили, что живете во имя нации! Так уйдите! Помогите остаткам нации! Вы обрекаете на гибель несчастных детей! Вы фанатики, жадные фанатики, дорвавшиеся до власти! Вы сыты, вы курите сигареты и пьете кофе! Дайте нам жить, как людям! – Астроном вдруг замер, вытер пот с висков и тихо закончил: – Или убейте меня поскорее здесь...

– Погодите, – сказал Штирлиц. – Крик – не довод. У вас есть какие-либо конкретные предложения?

– Что? – испуганно спросил астроном.

Спокойный голос Штирлица, его манера неторопливо говорить, чуть при этом улыбаясь, ошеломили астронома: он уже привык в тюрьме к крику и зуботычинам; к ним привыкают быстро, отвыкают – медленно.

– Я спрашиваю: каковы ваши конкретные предложения? Как нам спасти детей, женщин, стариков? Что вы предлагаете для этого сделать? Критиковать и злобствовать всегда легче. Выдвинуть разумную программу действий – значительно труднее.

– Я отвергаю астрологию, – ответил ученый, – но я преклоняюсь перед астрономией. Меня лишили кафедры в Бонне...

– Так ты поэтому так злобствуешь, собака?! – закричал Холтофф.

– Подождите, – сказал Штирлиц, досадливо поморщившись, – не надо кричать, право... Продолжайте, пожалуйста...

– Мы живем в год беспокойного солнца. Взрывы протуберанцев, передача огромной дополнительной массы солнечной энергии влияют на светила, на планеты и звезды, влияют на наше маленькое человечество...

– Вы, вероятно, – спросил Штирлиц, – вывели какой-либо гороскоп?

– Гороскоп – это интуитивная, может быть даже гениальная, недоказанность. Нет, я иду от обычной, отнюдь не гениальной гипотезы, которую я пытался выдвигать: о взаимосвязанности каждого живущего на земле с небом и солнцем... И эта взаимосвязь помогает мне точнее и трезвее оценивать происходящее на земле моей родины...

– Мне будет интересно поговорить с вами на эту тему подробнее, – сказал Штирлиц. – Вероятно, мой товарищ позволит сейчас вам пойти в камеру и дня два отдохнуть, а после мы вернемся к этому разговору.

Когда астронома увели, Штирлиц сказал:

– Он в определенной степени невменяем, разве ты не видишь? Все ученые, писатели, артисты по-своему невменяемы. К ним нужен особый подход, потому что они живут своей, придуманной ими жизнью. Отправь этого чудака в нашу больницу на экспертизу. У нас сейчас слишком много серьезной работы, чтобы тратить время на безответственных, хотя, может быть, и талантливых болтунов.

– Но он говорит как настоящий англичанин с лондонского радио... Или как проклятый социал-демократ, снюхавшийся с Москвой.

– Люди изобрели радио для того, чтобы его слушать. Вот он и наслушался. Нет, это несерьезно. Будет целесообразно встретиться с ним через несколько дней. Если он серьезный ученый, мы войдем к Мюллеру или Кальтенбруннеру с просьбой: дать ему хороший паек и эвакуировать в горы, где сейчас цвет нашей науки, – пусть работает, он сразу перестанет болтать, когда будет много хлеба с маслом, удобный домик в горах, в сосновом лесу, и никаких бомбежек... Нет?

Холтофф усмехнулся:

– Тогда бы никто не болтал, если бы у каждого был домик в горах, много хлеба с маслом и никаких бомбежек...

Штирлиц внимательно посмотрел на Холтоффа, дождался, пока тот, не выдержав его взгляда, начал суетливо перекладывать бумажки на столе с места на место, и только после этого широко и дружелюбно улыбнулся своему младшему товарищу по работе...

15.2.1945 (20 часов 44 минуты)

«СТЕНОГРАММА СОВЕЩАНИЯ У ФЮРЕРА»

Присутствовали:

Кейтель, Йодль, посланник Хавель – от Министерства иностранных дел, рейхсляйтер Борман, обергруппенфюрер СС Фегеляйн – посланник ставки рейхсфюрера СС, рейхсминистр промышленности Шпеер, а также адмирал Фосс, капитан третьего ранга Людде-Нейрат, адмирал фон Путкамер, адъютанты, стенографистки.

Борман. Кто там все время расхаживает? Это мешает! И потише, пожалуйста, господа военные.

Путкамер. Я попросил полковника фон Белова дать мне последнюю справку о положении люфтваффе в Италии.

Борман. Я не о полковнике. Все говорят, и это создает надоедливый, постоянный шум.

Гитлер. Мне это не мешает. Господин генерал, на карту не нанесены изменения на сегодняшний день в Курляндии.

Йодль. Мой фюрер, вы не обратили внимания: вот коррективы сегодняшнего утра.

Гитлер. Очень мелкий шрифт на карте. Спасибо, теперь я увидел.

Кейтель. Генерал Гудериан снова настаивает на вывозе наших дивизий из Курляндии.

Гитлер. Это неразумный план. Сейчас войска генерала Рендулича, оставшиеся в глубоком тылу русских, в четырехстах километрах от Ленинграда, притягивают к себе от сорока до семидесяти русских дивизий. Если мы уведем оттуда наши войска, соотношение сил под Берлином сразу же изменится – и отнюдь не в нашу пользу, как это кажется Гудериану. В случае, если мы уберем войска из Курляндии, тогда на каждую немецкую дивизию под Берлином будет приходиться по крайней мере три русских.

Борман. Надо быть трезвым политиком, господин фельдмаршал...

Кейтель. Я военный, а не политик.

Борман. Это неразделимые понятия в век тотальной войны.

Гитлер. Для того чтобы нам эвакуировать войска, стоящие сейчас в Курляндии, потребуется – учитывая опыт Либавской операции – по крайней мере, полгода. Это смехотворно. Нам отпущены часы, именно часы – для того, чтобы завоевать победу. Каждый, кто может смотреть, анализировать, делать выводы, обязан ответить себе на один лишь вопрос: возможна ли близкая победа? Причем я не прошу, чтобы ответ был слепым в своей категоричности. Меня не устраивает слепая вера, я ищу веры осмысленной. Никогда еще мир не знал такого парадоксального в своей противоречивости союза, каким является коалиция союзников. В то время как цели России, Англии и Америки являются диаметрально противоположными, наша цель ясна всем нам. В то время как они движутся, направляемые разностью своих идеологических устремлений, мы движимы одним устремлением; ему подчинена наша жизнь. В то время как противоречия между ними растут и будут расти, наше единство теперь, как никогда раньше, обрело ту монолитность, которой я добивался многие годы этой тяжелой великой кампании. Помогать разрушению коалиции наших врагов дипломатическими или иными путями – утопия. В лучшем случае утопия, если не проявление паники и утрата всяческой перспективы. Лишь нанося им военные удары, лишь демонстрируя негибимость нашего духа и неистощимость нашей мощи, мы ускорим конец этой коалиции, которая развалится при грохоте наших победных орудий. Ничто так не действует на западные демократии, как демонстрация силы. Ничто так не отрезвляет Сталина, как растерянность Запада, с одной стороны, и наши удары – с другой. Учтите, Сталину приходится сейчас вести войну не в лесах Брянска и не на полях Украины. Он держит свои войска на территории Польши, Румынии, Венгрии. Русские, войдя в прямое соприкосновение с «не родиной», уже ослаблены и – в определенной мере – деморализованы. Но не на русских и не на американцев я сейчас обращаю максимум внимания. Я обращаю свой взор на немцев! Только наша нация может одержать и обязана одержать победу! В настоящее время вся страна стала военным лагерем. Вся страна – я имею в виду Германию, Австрию, Норвегию, часть Венгрии и Италии, значительную территорию Чешского и Богемского протекторатов, Данию и часть Голландии. Это – сердце европейской цивилизации. Это концентрация мощи – материальной и духовной. В наши руки попал материал победы. От нас, от военных, сейчас

зависит, в какой мере быстро мы используем этот материал во имя нашего триумфа. Поверьте мне, после первых же сокрушительных ударов наших армий коалиция союзников рассыплется. Эгоистические интересы каждого из них возобладают над стратегическим видением проблемы. Я предлагаю во имя приближения часа нашей победы следующее: 6-я танковая армия СС начинает контрнаступление под Будапештом, обеспечивая, таким образом, надежность южного бастиона национал-социализма в Австрии и Венгрии, с одной стороны, и подготавливая выход во фланг русским – с другой. Учтите, что именно там, на юге, в Надьканиже, мы имеем семьдесят тысяч тонн нефти. Нефть – это кровь, пульсирующая в артериях войны. Я скорее пойду на сдачу Берлина, чем на потерю этой нефти, которая гарантирует мне неприступность Австрии, ее общность с итальянской миллионной группировкой Кессельринга. Далее: группа армий «Висла», собрав резервы, проведет решительное контрнаступление во фланги русских, использовав для этого померанский плацдарм. Войска рейхсфюрера СС, прорвав оборону русских, выходят к ним в тыл и овладевают инициативой; поддерживаемые штеттинской группировкой, они разрезают фронт русских. Вопрос подвоза резервов для Сталина – это вопрос вопросов. Расстояния против него. Расстояния, наоборот, за нас. Семь оборонительных линий, укрывающих Берлин и – практически – делающих его неприступным, позволят нам нарушить каноны военного искусства и перебросить на запад значительную группу войск с юга и с севера. У нас будет время: Сталину потребуется два-три месяца для перегруппировки резервов, нам же для переброски армий – пять дней; расстояния Германии позволяют сделать это, бросив вызов традициям стратегии.

Йодль. Желательно было бы все же увязать этот вопрос с традициями стратегии...

Гитлер. Речь идет не о деталях, а о целом. В конце концов, частности всегда могут быть решены в штабах группами узких специалистов. Военные имеют более четырех миллионов людей, организованных в мощный кулак сопротивления. Задача состоит в том, чтобы организовать этот мощный кулак сопротивления в сокрушающий удар победы. Мы сейчас стоим на границах августа 1938 года. Мы слиты воедино. Мы, нация немцев. Наша военная промышленность вырабатывает вооружения в четыре раза больше, чем в 1939 году. Наша армия в два раза больше, чем в том году. Наша ненависть страшна, а воля к победе неизмерима. Так я спрашиваю вас: неужели мы не выиграем мир путем войны? Неужели колоссальный военный успех не родит успех политический?

Кейтель. Как сказал рейхслайтер Борман, военный сейчас одновременно и политик.

Борман. Вы не согласны?

Кейтель. Я согласен.

Гитлер. Я прошу к завтрашнему дню подготовить мне конкретные предложения, господин фельдмаршал.

Кейтель. Да, мой фюрер. Мы приготовим общую наметку, и, если вы одобрите ее, мы начнем обработку всех деталей».

Когда совещание кончилось и все приглашенные разошлись, Борман вызвал двух стенографисток.

– Пожалуйста, срочно расшифруйте то, что я вам сейчас продиктую, и разошлите от имени ставки всем высшим офицерам вермахта... Итак: «В своей исторической речи 15 февраля в ставке наш фюрер, осветив положение на фронтах, в частности, сказал: „Никогда еще мир не знал такого парадоксального в своей противоречивости блока, каким является коалиция союзников“». Далее...

«Кем они меня там считают?» (Задание)

(Из партийной характеристики члена НСДАП с 1933 года фон Штирлица, штандартенфюрера СС (VI отдел РСХА):

«Истинный ариец. Характер – нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет служебный долг. Беспощаден к врагам рейха. Отличный спортсмен: чемпион Берлина по теннису. Холост; в связях, порочащих его, замечен не был. Отмечен наградами фюрера и благодарностями рейхсфюрера СС...»)

Штирлиц приехал к себе, когда только-только начинало темнеть. Он любил февраль: снега почти не было, по утрам высокие верхушки сосен освещались солнцем, и казалось, что уже лето и можно уехать на Могельзее и там ловить рыбу или спать в шезлонге.

Здесь, в маленьком своем коттедже в Бабельсберге, совсем неподалеку от Потсдама, он теперь жил один: его экономка неделю назад уехала в Тюрингию к племяннице – сдали нервы от бесконечных налетов.

Теперь у него убирала молоденькая дочка хозяина кабачка «К охотнику».

«Наверное, саксонка, – думал Штирлиц, наблюдая за тем, как девушка управлялась с большим пылесосом в гостиной, – черненькая, а глаза голубые. Правда, акцент у нее берлинский, но все равно она, наверное, из Саксонии».

– Который час? – спросил Штирлиц.

– Около семи...

Штирлиц усмехнулся: «Счастливая девочка... Она может себе позволить это „около семи“. Самые счастливые люди на земле те, кто может вольно обращаться с временем, ничуть не опасаясь за последствия... Но говорит она на берлинском, это точно. Даже с примесью мекленбургского диалекта...»

Услышав шум подъезжающего автомобиля, он крикнул:

– Девочка, посмотри, кого там принесло?

Девушка, заглянув к нему в маленький кабинет, где он сидел в кресле возле камина, сказала:

– К вам господин из полиции.

Штирлиц поднялся, потянулся с хрустом и пошел в прихожую. Там стоял унтершарфюрер СС с большой корзиной в руке.

– Господин штандартенфюрер, ваш шофер заболел, я привез паек вместо него...

– Спасибо, – ответил Штирлиц, – положите в холодильник. Девочка вам поможет.

Он не вышел проводить унтершарфюрера, когда тот уходил из дома. Он открыл глаза, только когда в кабинет неслышно вошла девушка и, остановившись у двери, тихо сказала:

– Если герр Штирлиц хочет, я могу оставаться и на ночь.

«Девочка впервые увидела столько продуктов, – понял он. – Бедная девочка».

Он открыл глаза, снова потянулся и ответил:

– Девочка... половину колбасы и сыр можешь взять себе без этого...

– Что вы, герр Штирлиц, – ответила она, – я не из-за продуктов...

– Ты влюблена в меня, да? Ты от меня без ума? Тебе снятся мои седины, нет?

– Седые мужчины мне нравятся больше всего на свете.

– Ладно, девочка, к сединам мы еще вернемся. После твоего замужества... Как тебя зовут?

– Мари... Я ж говорила... Мари.

- Да-да, прости меня, Мари. Возьми колбасу и не кокетничай. Сколько тебе лет?
- Девятнадцать.
- О, совсем уже взрослая девушка. Ты давно из Саксонии?
- Давно. С тех пор, как сюда переехали мои родители.
- Ну иди, Мари, иди отдыхать. А то я боюсь, не начали бы они бомбить, тебе будет страшно идти, когда бомбят.

Когда девушка ушла, Штирлиц закрыл окна тяжелыми светомаскировочными шторами и включил настольную лампу. Нагнулся к камину и только тут заметил, что поленца сложены именно так, как он любил: ровным колодцем, и даже береста лежала на голубом грубом блюде.

«Я ей об этом не говорил. Или нет... Сказал. Мимоходом... Девочка умеет запоминать, – думал он, зажигая бересту, – мы все думаем о молодых, как старые учителя, и со стороны это, верно, выглядит очень смешно. А я уже привык думать о себе как о старике: сорок пять лет...»

Штирлиц дождался, пока разгорелся огонь в камине, подошел к приемнику и включил его. Он услышал Москву: передавали старинные романсы. Штирлиц вспомнил, как однажды Геринг сказал своим штабистам: «Это непатриотично – слушать вражеское радио, но временами меня так и подмывает послушать, какую ахинею они о нас несут». Сигналы о том, что Геринг слушает вражеское радио, поступали и от его прислуги, и от шофера. Если «наци № 2» таким образом пытается выстроить свое алиби, это свидетельствует о его трусости и полнейшей неуверенности в завтрашнем дне. Наоборот, думал Штирлиц, ему не стоило бы скрывать того, что он слушает вражеское радио. Стоило бы просто комментировать вражеские передачи, грубо их вышучивать. Это наверняка подействовало бы на Гимmlера, не отличавшегося особым изыском в мышлении.

Романс окончился тихим фортепианным проигрышем. Далекий голос московского диктора, видимо немца, начал передавать частоты, на которых следовало слушать передачи по пятицам и средам. Штирлиц записывал цифры: это было донесение, предназначенное для него, он ждал его уже шесть дней. Он записывал цифры в стройную колонку: цифр было много, и, видимо, опасаясь, что он не успеет все записать, диктор прочитал их во второй раз.

А потом снова зазвучали прекрасные русские романсы.

Штирлиц достал из книжного шкафа томик Монтеня, перевел цифры в слова и соотнес эти слова с кодом, скрытым среди мудрых истин великого и спокойного французского мыслителя.

«Кем они считают меня? – подумал он. – Гением или всемогущим? Это же невысказано...»

Думать так у Штирлица были все основания, потому что задание, переданное ему через московское радио, гласило:

«ЮСТАСУ. По нашим сведениям, в Швеции и Швейцарии появлялись высшие офицеры службы безопасности СД и СС, которые искали выход на резидентуру союзников. В частности, в Берне люди СД пытались установить контакт с работниками Аллена Даллеса. Вам необходимо выяснить, являются ли эти попытки контактов: 1) дезинформацией, 2) личной инициативой высших офицеров СД, 3) выполнением задания центра.

В случае если эти сотрудники СД и СС выполняют задание Берлина, необходимо выяснить, кто послал их с этим заданием. Конкретно: кто из высших руководителей рейха ищет контактов с Западом. АЛЕКС».

...За шесть дней перед тем, как эта телеграмма попала в руки Юстаса, Сталин, ознакомившись с последними донесениями советской секретной службы за кордоном, вызвал на ближнюю дачу начальника разведки и сказал ему:

– Только подготовишки от политики могут считать Германию окончательно обессиленной, а потому не опасной... Германия – это сжатая до предела пружина, которую должно

и можно сломить, прилагая равно мощные усилия с обеих сторон. В противном случае, если давление с одной стороны превратится в подпирающее, пружина может, распрямившись, ударить в противоположном направлении. И это будет сильный удар, во-первых, потому, что фанатизм гитлеровцев по-прежнему силен, а во-вторых, потому, что военный потенциал Германии отнюдь не до конца истощен. Поэтому всякие попытки соглашения фашистов с антисоветчиками Запада должны рассматриваться вами как реальная возможность. Естественно, – продолжал Сталин, – вы должны отдать себе отчет в том, что главными фигурами в этих возможных сепаратных переговорах будут, скорее всего, ближайшие соратники Гитлера, имеющие авторитет и среди партийного аппарата, и среди народа. Они, его ближайшие соратники, должны стать объектом вашего пристального наблюдения. Бесспорно, ближайшие соратники тирана, который на грани падения, будут предавать его, чтобы спасти себе жизнь. Это аксиома в любой политической игре. Если вы проморгаете эти возможные процессы – пеняйте на себя. ЧК беспощадна, – неторопливо закурив, добавил Сталин, – не только к врагам, но и к тем, кто дает врагам шанс на победу – вольно или невольно...

Где-то далеко завывали сирены воздушной тревоги, и сразу же залаляли зенитки. Электростанция выключила свет, и Штирлиц долго сидел возле камина, наблюдая за тем, как по черно-красным головешкам змеились голубые огоньки.

«Если закрыть вытяжку, – лениво подумал Штирлиц, – через три часа я усну. Так сказать, почил в бозе... Мы так чуть не угорели с бабушкой на Якиманке, когда она прежде времени закрыла печку, а в ней еще были такие же дрова – черно-красные, с такими же голубыми огоньками. А газ, которым мы отравились, был бесцветным. И совсем без запаха... По-моему...»

Дождавшись, когда головешки сделались совсем черными и уже не было змеистых голубых огоньков, Штирлиц закрыл вытяжку, зажег большую свечу, вставленную в горлышко бутылки из-под шампанского, и подивился тому диковинному, что составил стеарин, обтекая бутылку. Он сжег много свечей, и бутылка почти не была видна: какой-то странный пупырчатый сосуд вроде древних амфор, только бело-красный. Штирлиц специально просил своих друзей, выезжавших в Испанию, привозить ему цветные свечи: после эти диковинные стеариновые бутылки он раздаривал знакомым.

Неподалеку тяжело рвануло подряд два раза.

«Фугаски, – определил он. – Здоровые фугаски. Бомбят ребята славно. Просто великолепно бомбят. Обидно, конечно, если пристукнут в последние дни. Наши и следов не найдут. Вообще-то противно погибнуть безвестно. Сашенька, – вдруг увидел он лицо жены. – Сашенька маленькая и Сашенька большой... Теперь умирать совсем не с руки. Теперь надо во что бы то ни стало выкарабкаться. Одному жить легче, потому что не так страшно погибать. А повидав сына – погибать страшно. Идиоты пишут в романах: он умер тихо, на руках любящих родственников. Нет ничего страшнее, чем умирать на руках своих детей, видеть их в последний раз, чувствовать их близость и понимать, что это навсегда, что это конец, и тьма, и горе им...»

Однажды на приеме в советском посольстве на Унтер-ден-Линден Штирлиц, беседуя вместе с Шелленбергом с молодым советским дипломатом, хмуро – по своей обычной манере – слушал дискуссию русского и шефа политической разведки о праве человека на веру в амулеты, заговоры, приметы и прочую, по выражению секретаря посольства, «дикарскую требуху». В веселом споре этом Шелленберг был, как всегда, тактичен, доказателен и уступчив. Штирлиц злился, глядя, как он затаскивает русского парня в спор.

«Светит фарами, – подумал он, – присматривается к противнику: характер человека лучше всего узнается в споре. Это Шелленберг умеет делать как никто другой».

– Если вам все ясно в этом мире, – продолжал Шелленберг, – тогда вы, естественно, имеете право отвергать веру человека в силу амулета. Но все ли вам так уж ясно? Я имею в виду не идеологию, но физику, химию, математику...

– Кто из физиков или математиков, – горячился секретарь посольства, – приступает к решению задачи, надев на шею амулет? Это нонсенс.

«Ему надо было остановиться на вопросе, – отметил для себя Штирлиц, – а он не выдержал – сам себе ответил. В споре важно задавать вопросы: тогда виден контрагент, да и потом, отвечать всегда сложнее, чем спрашивать...»

– Может быть, физик или математик надевает амулет, но не афиширует этого? – спросил Шелленберг. – Или вы отвергаете такую возможность?

– Наивно отвергать возможность. Категория возможности – парафраз понятия перспективы.

«Хорошо ответил, – снова отметил для себя Штирлиц. – Надо было отыграть... Спросить, например: „Вы не согласны с этим?“ А он не спросил и снова подставился под удар».

– Так, может быть, и амулет нам подверстать к категории непонятой возможности? Или вы против?

Штирлиц пришел на помощь.

– Немецкая сторона победила в споре, – констатировал он, – однако истины ради стоит отметить, что на блестящие вопросы Германии Россия давала не менее великолепные ответы. Мы исчерпали тему, но я не знаю, каково бы нам пришлось, возьми на себя русская сторона инициативу в атаке – вопросами...

«Понял, братишечка?» – спрашивали глаза Штирлица, и по тому, как замер враз взбучшими желваками русский дипломат, Штирлицу стало ясно, что его урок понят...

«Не сердись, милый, – думал он, глядя на отошедшего парня, – лучше это сделать мне, чем кому-то другому... Только не прав ты про амулет... Когда мне очень плохо и я с открытыми глазами иду на риск, а у меня он всегда смертельный, я надеваю на грудь амулет – медальон, в котором лежит прядь Сашенькиных волос... Мне пришлось выбросить ее медальон – он был слишком русским, и я купил немецкий, тяжелый, нарочито богатый, а прядь волос – золотисто-белых, ее, Сашенькиных, – со мной, и это мой амулет...»

Двадцать три года назад, во Владивостоке, он видел Сашеньку в последний раз, отправляясь по заданию Дзержинского с белой эмиграцией – сначала в Шанхай, потом в Париж. Но с того ветреного, страшного, далекого дня образ ее жил в нем; она стала его частью, она растворилась в нем, превратившись в часть его собственного «я»...

Он вспомнил свою случайную встречу с сыном в Кракове, поздней ночью. Он вспомнил, как «Гришанчиков» приходил к нему в гостиницу и как они шептались, включив радио, и как мучительно ему было уезжать от сына, который волею судьбы избрал его путь. Штирлиц знал, что сын сейчас в Праге, что он должен спасти этот город от взрыва – так же, как он с майором Вихрем спас Краков. Он знал, как сейчас сложно ему вести свое дело, но он также понимал, что всякая его попытка увидаться с сыном – из Берлина до Праги всего шесть часов езды – может поставить его под удар...

В сорок втором году во время бомбежки под Великими Луками убило шофера Штирлица – тихого, вечно улыбавшегося Фрица Рошке. Парень был честный; Штирлиц знал, что он отказался стать осведомителем гестапо и не написал на него ни одного рапорта, хотя его об этом просили из IV отдела РСХА весьма настойчиво.

Штирлиц, оправившись после контузии, заехал в дом под Карлсхорстом, где жила вдова Рошке. Женщина лежала в нетопленном доме и бредила. Полуторагодовалый сын Рошке Генрих ползал по полу и тихонько плакал: кричать мальчик не мог, он сорвал голос. Штирлиц вызвал врача. Женщину увезли в госпиталь: крупозное воспаление легких. Мальчика Штирлиц забрал к себе; его экономка, старая добрая женщина, выкупала малыша и, напоив его горячим молоком, хотела было положить у себя.

– Постелите ему в спальне, – сказал Штирлиц, – пусть он будет со мной.

– Дети очень кричат по ночам.

– А может быть, я именно этого и хочу, – тихо ответил Штирлиц, – может быть, мне очень хочется слышать, как по ночам плачут маленькие дети.

Старушка посмеялась: «Что может быть в этом приятного? Одно мученье».

Но спорить с хозяином не стала. Она проснулась часа в два. В спальне надрывался, заходился в плаче мальчик. Старушка надела теплый стеганый халат, наскоро причесалась и спустилась вниз. Она увидела свет в спальне. Штирлиц ходил по комнате, прижав к груди мальчика, завернутого в плед, и что-то тихо напевал ему. Старушка никогда не видела такого лица у Штирлица – оно до неузнаваемости изменилось, и старушка даже поначалу подумала: «Да он ли это?» Лицо Штирлица – обычно жесткое, моложавое – сейчас было очень старым и даже, пожалуй, женственным.

Наутро экономка подошла к двери спальни и долго не решалась постучать. Обычно Штирлиц в семь часов садился к столу. Он любил, чтобы тосты были горячими, поэтому она готовила их с половины седьмого, точно зная, что в раз и навсегда заведенное время он выпьет чашку кофе – без молока и сахара, потом намажет тостик мармеладом и выпьет вторую чашку кофе – теперь с молоком. За те четыре года, что экономка прожила в доме Штирлица, он ни разу не опаздывал к столу. Сейчас было уже восемь, а в спальне царила тишина. Она чуть приоткрыла дверь и увидела, что Штирлиц и малыш спят на широкой кровати. Мальчуган лежал поперек кровати, упираясь пятками в спину Штирлицу, а тот умещался каким-то чудом на самом краю. Видимо, он услышал, как экономка отворила дверь, потому что сразу же открыл глаза и, улыбнувшись, приложил палец к губам. Он говорил шепотом даже на кухне, когда зашел узнать, чем она собирается кормить мальчика.

– Мне говорил племянник, – улыбнулась экономка, – что только русские кладут детей к себе в кровать...

– Да? – удивился Штирлиц. – Почему?

– От свинства...

– Значит, вы считаете своего хозяина свиньей? – хохотнул Штирлиц.

Экономка смешалась, покрылась красными пятнами.

– О господин Штирлиц, как можно... Вы положили дитя в кровать, чтобы заменить ему родителей. Это от благородства и доброты...

Штирлиц позвонил в госпиталь. Ему сказали, что Анна Рошке умерла час назад. Штирлиц навел справки, где живут родственники погибшего шофера и Анны. Мать Фрица ответила, что она живет одна, очень больна и не имеет возможности содержать внука. Родственники Анны погибли в Эссене во время налета британской авиации. Штирлиц, дивясь самому себе, испытал затаенную радость: теперь он мог усыновить мальчика. Он бы сделал это, если бы не страх за будущее Генриха. Он знал участь детей тех, кто становился врагом рейха: детский дом, потом концлагерь, а после – печь...

Штирлиц отправил малыша в горы, в Тюрингию, в семью экономки.

– Вы правы, – посмеиваясь, сказал он женщине за завтраком, – маленькие дети весьма обременительны для одиноких мужчин...

Экономка ничего не ответила, только заученно улыбнулась. А ей хотелось ему сказать, что это жестоко и безнравственно – приучить за эти три недели к себе малыша, а потом отправить его в горы, к новым людям – значит, снова ему надо будет привыкать, снова обретать веру в того, кто ночью спит рядом и, укачивая, поет тихие, добрые песни.

– Я понимаю, – закончил Штирлиц, – вам это кажется жестокостью. Но что же делать людям моей профессии? Разве лучше будет, если он станет сиротой второй раз?

Экономку всегда поражало умение Штирлица угадывать ее мысли.

– О нет, – сказала она, – я отнюдь не считаю ваш поступок жестоким. Он разумен, ваш поступок, господин Штирлиц, в высшей мере разумен.

Она даже и не поняла: сказала сейчас правду или солгала ему, испугавшись того, что он снова понял ее мысли.

...Штирлиц поднялся и, взяв свечу, подошел к столу. Он достал несколько листов бумаги и разложил их перед собой, словно карты во время пасьянса. На одном листе бумаги он нарисовал толстого, высокого человека. Он хотел подписать внизу – Геринг, но делать этого не стал. На втором листке он нарисовал лицо Геббельса, на третьем – сильное, со шрамом лицо: Борман. Подумав немного, он написал на четвертом листке: «рейхсфюрер СС». Это был титул его шефа, Генриха Гиммлера.

...Разведчик, если он оказывается в средоточии важнейших событий, должен быть человеком бесконечно эмоциональным, даже чувственным – сродни актеру; но при этом эмоции обязаны быть в конечном счете подчинены логике, жестокой и четкой.

Штирлиц, когда ночью, да и то изредка, позволял себе чувствовать себя Исаевым, рассуждал так: что значит быть настоящим разведчиком? Собрать информацию, обработать объективные данные и передать их в Центр – для политического обобщения и принятия решения? Или сделать *свои*, сугубо индивидуальные выводы, наметить *свою* перспективу, предложить *свои* выкладки? Исаев считал, что если разведке заниматься планированием политики, тогда может оказаться, что рекомендаций будет много, а сведений – мало. Очень плохо, считал он, когда разведка полностью подчинена политической, заранее выверенной линии: так было с Гитлером, когда он, уверовав в слабость Советского Союза, не прислушался к осторожным мнениям военных – Россия не так слаба, как кажется. Также плохо, думал Исаев, когда разведка тщится подчинить себе политику. Идеально, когда разведчик понимает перспективу развития событий и предоставляет политикам ряд возможных, наиболее, с его точки зрения, целесообразных решений.

Разведчик, считал Исаев, может сомневаться в непогрешимости своих предсказаний, он не имеет права на одно только: он не имеет права сомневаться в их полной объективности.

Приступая сейчас к последнему обзору материала, который он смог собрать за все эти годы, Штирлиц поэтому обязан был взвесить все свои «за» и «против»: вопрос шел о судьбах Европы, и ошибиться в анализе никак нельзя.

Информация к размышлению (Геринг)

Боевой летчик Первой мировой войны, герой кайзеровской Германии, Геринг после первого нацистского выступления сбежал в Швецию. Начал работать там летчиком гражданской авиации, и однажды, в страшный шторм, он чудом усадил свой одномоторный аэроплан в замке Роклштадт, там познакомился с дочерью полковника фон Фока, Мариной фон Катцов, отбил ее у мужа, уехал в Германию, встретился с фюрером, вышел на демонстрацию национал-социалистов в ноябре 1923 года, был ранен, чудом избежал ареста и эмигрировал в Инсбрук, где его уже ждала Карина. У них не было денег, но владелец отеля кормил их бесплатно: он был так же, как Геринг, национал-социалистом. Потом Герингов пригласил в Венецию хозяин отеля «Британия», и там они жили до 1927 года, до того дня, как в Германии была объявлена амнистия. Менее чем через полгода Геринг стал депутатом рейхстага вместе с другими одиннадцатью нацистами. Гитлер баллотироваться не мог: он был австриец.

Карина писала своей матери в Швецию: «В рейхстаге Герман сидит вместе с генералом фон Энн из Баварии. Рядом много уголовных типов из Красной гвардии – со звездами Давида и с красными звездами, впрочем, это одно и то же. Кронпринц прислал Герману телеграмму: „Только вы с вашей выправкой можете представлять германцев“».

Надо было готовиться к новым выборам. По решению фюрера Геринг ушел с партийной работы, он оставался только членом рейхстага. Его тогдашняя задача: наладить связи с сильными мира сего – партия, намеревающаяся взять власть, должна иметь широкий круг связей. По решению партии он снял шикарный особняк на Баденштрассе: там принимал принца Гогенцоллерна, принца Кобурга, магнатов. Душой дома была Карина: обаятельная женщина, аристократка, она импонировала всем – дочь одного из высших сановников Швеции, ставшая женой героя войны, изгнанника, борца против разложившейся западной демократии, которая не в силах противостоять большевистскому вандализму.

Каждый раз перед приемом рано утром приезжал партайляйтер берлинской нацистской организации Геббельс. Он был связным между партией и Герингом. Геббельс садился к роялю, а Геринг, Карина и Томас, ее сын от первого брака, пели народные песни: в доме лидера нацистов не переносили разнужданных ритмов американского или французского джаза.

Именно сюда, в особняк, снятый на деньги партии, 5 января 1931 года приехали Гитлер, Шахт и Тиссен. Именно этот шикарный особняк услышал слова сговора финансовых и промышленных воротил с фюрером национал-социалистов Гитлером, призывавшим рабочих Германии «сбросить иго коминтерновского большевизма и растленного империализма и сделать Германию государством народа».

После рэмовского путча, когда в оппозицию к фюреру стали многие ветераны, пошли разговоры:

– Геринг перестал быть Германом, он стал президентом... Он не принимает товарищей по партии, их унижительно ставят на очереди в его канцелярии... Он погряз в роскоши...

Сначала об этом говорили вполголоса только рядовые члены партии. Но когда Геринг в 1935 году построил под Берлином замок Каринхалле, Гитлеру пожаловались на него уже не рядовые национал-социалисты, а главари – Лей и Заукель. Геббельс считал, что Геринг начал портиться еще в своем особняке.

– Роскошь засасывает, – говорил он, – Герингу надо помочь, он слишком дорог всем нам. Гитлер поехал в Каринхалле, осмотрел этот замок и сказал:

– Оставьте Геринга в покое. В конце концов, он один знает, как надо представляться дипломатам. Пусть Каринхалле будет резиденцией для приема иностранных гостей. Пусть! Герман это заслужил. Будем считать, что Каринхалле принадлежит народу, а Геринг только живет здесь...

Здесь Геринг проводил все время, перечитывая Жюль Верна и Карла Мэя – это были два его самых любимых писателя. Здесь он охотился на ручных оленей, а по вечерам просиживал долгие часы в кинозале: он мог смотреть по пять приключенческих фильмов подряд. Во время сеанса он успокаивал своих гостей.

– Не волнуйтесь, – говорил он, – конец будет хороший...

Отсюда, из Каринхалле, после просмотра приключенческих фильмов, он вылетал в Мюнхен – принимать капитуляцию Чемберлена, в Варшаву – наблюдать расстрелы в гетто, в Житомир – планировать уничтожение славян...

В апреле 1942 года, после налета американских бомбардировщиков на Киль, когда город был сожжен и разрушен, Геринг сообщил фюреру, что в налете участвовало триста вражеских самолетов. Гауляйтер Киля Грохе, посевший за эти сутки, измученный, документально опроверг Геринга: в налете принимало участие восемьсот бомбардировщиков, а люфтваффе было бессильно и ничего не смогло сделать для того, чтобы спасти город.

Гитлер молча смотрел на Геринга, и только брезгливая гримаса пробежала по его лицу. Потом он взорвался:

– «Ни одна вражеская бомба не упадет на города Германии»?! – нервно, с болью заговорил он, не глядя на Геринга. – Кто объявил об этом нации? Кто уверял в этом нашу партию?! Я читал в книгах об азартных карточных играх – мне знакомо понятие блефа! Германия не зеленое сукно ломберного стола, на котором можно играть в азартные игры. Вы погрязли в довольстве и роскоши, Геринг! Вы живете в дни войны, словно император или еврейский плутократ! Вы стреляете из лука оленей, а мою нацию расстреливают из пушек самолеты врага! Призвание вождя – это величие нации! Удел вождя – скромность! Профессия вождя – точное соотношение обещаний с их выполнением!

Из заключения врачей, прикрепленных к рейхсмаршалу, стало известно, что Геринг, выслушав эти слова Гитлера, вернулся к себе и слег с температурой в сильнейшем нервном припадке.

Итак, в 1942 году впервые Геринг, «наци № 2», официальный преемник Гитлера, был подвергнут такой унижительной критике, да еще в присутствии аппарата фюрера. Это событие немедленно легло в досье Гимmlера, и на следующий день, не испрашивая разрешения Гитлера, рейхсфюрер СС отдал директиву начать прослушивание всех телефонных разговоров ближайшего соратника фюрера.

Впрочем, впервые Гимmlер в течение недели прослушивал разговоры рейхсмаршала уже после скандала с его братом Альбертом, руководителем экспорта заводов «Шкода». Альберт, слывший защитником обиженных, написал на бланке брата письмо коменданту лагеря Маутхаузен: «Немедленно освободите профессора Киша, против которого нет серьезных улик». И подписался: Геринг. Без инициалов. Перепуганный комендант концлагеря отпустил сразу двух Кишей: один из них был профессором, а второй – подпольщиком. Герингу стоило большого труда выручить брата: он вывел его из-под удара, рассказав об этом фюреру как о занятном анекдоте.

Однако Гитлер по-прежнему повторял Борману:

– Никто иной не может быть моим преемником, кроме Геринга. Во-первых, он никогда не лез в самостоятельную политику, во-вторых, он популярен в народе, и в-третьих, он – главный объект для карикатур во вражеской печати.

Это было мнение Гитлера о человеке, который вел всю практическую работу по захвату власти, о человеке, который совершенно искренне сказал – и не кому-нибудь, а жене,

и не для диктофонов – он тогда не верил, что его когда-либо смогут прослушивать братья по борьбе, – а ночью, в постели:

– Не я живу, но фюрер живет во мне...

15.2.1945 (22 часа 32 минуты)

(Из партийной характеристики члена НСДАП с 1939 года обергруппенфюрера СС, начальника IV отдела РСХА (гестапо) Мюллера:

«Истинный ариец. Характер – нордический, выдержанный. Общителен и ровен с друзьями и коллегами по работе. Беспощаден к врагам рейха. Отличный семьянин: связей, порочащих его, не имел. В работе проявил себя выдающимся организатором...»)

Шеф службы имперской безопасности СД Эрнст Кальтенбруннер говорил с сильным венским акцентом. Он знал, что это сердило фюрера и Гимmlера, и поэтому одно время занимался с фонетологом, чтобы научиться истинному «хохдойчу». Но из этой затеи ничего путного не вышло: он любил Вену, жил Веной и не мог заставить себя даже час в день говорить на «хохдойче» вместо своего веселого, хотя и вульгарного, венского диалекта. Поэтому в последнее время Кальтенбруннер перестал подделываться под немцев и говорил со всеми так, как ему и следовало говорить, – по-венски. С подчиненными он говорил даже на акценте Инсбрука; в горах австрийцы говорят совершенно особенно, и Кальтенбруннеру порой нравилось ставить людей своего аппарата в тупик: сотрудники боялись переспросить непонятное слово и испытывали острое чувство растерянности и замешательства.

Он посмотрел на шефа гестапо обергруппенфюрера СС Мюллера и сказал:

– Я не хочу будить в вас злобную химеру подозрительности по отношению к товарищам по партии и по совместной борьбе, но факты говорят о следующем. Первое: Штирлиц косвенно, правда, но все-таки причастен к провалу краковской операции. Он был там, но город, по странному стечению обстоятельств, остался невредим, хотя он должен был взлететь на воздух. Второе: он занимался исчезнувшим ФАУ, но он не нашел его, ФАУ исчез, и я молю Бога, чтобы он утонул в привисленских болотах. Третье: он и сейчас курирует круг вопросов, связанных с оружием возмездия, и хотя явных провалов нет, но и успехов, рывков, очевидных побед мы тоже не наблюдаем. А курить – это не значит только сажать инакомыслящих. Это также означает помощь тем, кто думает точно и перспективно... Четвертое: блуждающий передатчик, работающий на стратегическую, судя по коду, разведку большевиков, которым он занимался, по-прежнему работает в окрестностях Берлина. Я был бы рад, Мюллер, если бы вы сразу опровергли мои подозрения. Я симпатизирую Штирлицу, и мне хотелось бы получить у вас документальные опровержения моих внезапно появившихся подозрений.

Мюллер работал сегодня всю ночь, не выспался, в висках шумело, поэтому он ответил без обычных своих грубоватых шуток:

– У меня на него никогда сигналов не было. А от ошибок и неудач в нашем деле никто не гарантирован.

– То есть вам кажется, что я здорово ошибаюсь?

В вопросе Кальтенбруннера были жесткие нотки, и Мюллер, несмотря на усталость, понял их.

– Почему же... – ответил он. – Появившееся подозрение нужно проанализировать со всех сторон, иначе зачем держать мой аппарат? Больше у вас нет никаких фактов? – спросил Мюллер.

Кальтенбруннеру табак попал в дыхательное горло, и он долго кашлял, лицо его посинело, жилы на шее сделались громадными, взбухшими, багровыми.

– Как вам сказать, – ответил он, вытирая слезы. – Я попросил несколько дней пописать его разговоры с нашими людьми. Те, кому я беспрекословно верю, открыто говорят друг с другом о трагизме положения, о тупости наших военных, о кретинизме Риббентропа, о болване Геринге, о том страшном, что ждет нас всех, если русские ворвутся в Берлин... А Штирлиц отвечает: «Ерунда, все хорошо, дела развиваются нормально». Любовь к родине и к фюреру заключается не в том, чтобы слепо врать друзьям по работе... Я спросил себя: «А не болван ли он?» У нас ведь много тупиц, которые бездумно повторяют абракадабру Геббельса. Нет, он не болван. Почему же он тогда неискренен? Или он никому не верит, либо он чего-то боится, либо он что-то затевает и хочет быть кристально чистым. А что он затевает в таком случае? Все его операции должны иметь выход за границу, к нейтралам. И я спросил себя: «А вернется ли он оттуда? И если вернется, то не повяжется ли он там с оппозиционерами или иными негодями?» Я не смог себе ответить точно – ни в положительном, ни в отрицательном аспекте.

Мюллер спросил:

– Сначала вы посмотрите его досье или сразу взять мне?

– Возьмите сразу вы, – схитрил Кальтенбруннер, успевший изучить все материалы. – Я должен ехать к фюреру.

Мюллер вопросительно посмотрел на Кальтенбруннера. Он ждал, что тот расскажет какие-нибудь свежие новости из бункера, но Кальтенбруннер ничего рассказывать не стал. Он выдвинул нижний ящик стола, достал бутылку «Наполеона», придвинул рюмку Мюллеру и спросил:

– Вы сильно пили?

– Совсем не пил.

– А что глаза красные?

– Я не спал – было много работы по Праге: наши люди там повисли на «хвосте» у подпольных групп.

– Крюгер будет хорошим подспорьем. Он службист отличный, хотя фантазии маловато. Выпейте коньяку, это взбодрит вас.

– От коньяка я, наоборот, совею. Я люблю водку.

– От этого не осовеете, – улыбнулся Кальтенбруннер и поднял свою рюмку. – Прозит!

Он выпил залпом, и кадык у него стремительно, как у алкоголика, рванулся снизу вверх.

«Он здорово пьет, – отметил Мюллер, выщеживая свой коньяк, – сейчас наверняка нальет себе вторую рюмку».

Кальтенбруннер закурил самые дешевые, крепкие сигареты «Каро» и спросил:

– Ну, хотите повторить?

– Спасибо, – ответил Мюллер, – с удовольствием.

Информация к размышлению (Геббельс)

Штирлиц отложил бумагу с рисунком толстой фигуры Геринга и придвинул к себе листок с профилем Геббельса. За похождения в Бабельсберге, где была расположена киностудия рейха и где жили актрисы, его прозвали бабельсбергским бычком. В досье на него хранилась запись беседы фрау Геббельс с Герингом, когда рейхсминистр пропаганды был увлечен чешской актрисой Лидой Бааровой. Геринг тогда сказал его жене:

– Он разобьет себе лоб из-за баб. Человек, отвечающий за нашу идеологию, сам позорит себя случайными связями с грязными чешками!

Фюрер рекомендовал фрау Геббельс развестись.

– Я поддержу вас, – сказал он, – а вашему мужу до тех пор, пока он не научится вести себя, как подобает истинному национал-социалисту – человеку высокой морали и святого соблюдения долга перед семьей, я отказываю в личных встречах...

Сейчас все ушло на задний план. В январе этого года Гитлер приехал в дом Геббельса на день рождения. Он привез фрау Геббельс букетик цветов и сказал:

– Я прошу простить меня за опоздание, но я объехал весь Берлин, пока смог достать цветы: гауляйтер Берлина партайгеноссе Геббельс закрыл все цветочные магазины – тотальной войне не нужны цветы...

Когда через сорок минут Гитлер уехал, счастливая Магда Геббельс сказала:

– К Герингам фюрер никогда бы не поехал...

Берлин лежал в развалинах, фронт проходил в ста сорока километрах от столицы тысячелетнего рейха, а Магда Геббельс торжествовала свою победу, и ее муж стоял рядом, и лицо его было бледно от счастья: после шестилетнего перерыва фюрер приехал в его дом...

Штирлиц нарисовал большой круг и стал неторопливо заштриховывать его четкими и очень ровными линиями. Он вспоминал сейчас все относящееся к дневникам Геббельса. Он знал, что дневниками Геббельса интересовался рейхсфюрер, и прилагал в свое время максимум усилий для того, чтобы как-то познакомиться с ними. Штирлицу удалось посмотреть фотокопию только нескольких страниц. Память у него была феноменальная: он зрительно фотографировал текст, запоминая его почти механически, без всяких усилий.

«...В Англии эпидемия гриппа, – записывал Геббельс. – Даже король болен. Хорошо бы, чтобы эта эпидемия стала фатальной для Англии, но это слишком замечательно, чтобы быть правдой.

2 марта 1943 года. Я не смогу отдыхать до тех пор, пока все евреи не будут убраны из Берлина. После беседы со Шпеером в Оберзальцберге поехал к Герингу. У него в подвале 25 000 бутылок шампанского, у этого национал-социалиста! Он был одет в тунику, и от ее цвета у меня началась идиосинкразия. Но что делать, надо его принимать таким, каков он есть».

Штирлиц вспомнил, как Гиммлер то же самое, слово в слово, сказал о Геббельсе. Это было в сорок втором году. Геббельс жил тогда на даче, но не с семьей, в большом доме, а в маленьком скромном коттеджике, построенном «для работы». Коттедж стоял возле озера, и ограду можно было обойти по камышам – воды там было по щиколотку, и пост охраны СС находился в стороне. Туда к нему приезжали актрисы: они ехали на электричке и шли пешком через лес. Геббельс считал чрезмерной роскошью, недостойной национал-социалиста, возить к себе женщин на машине. Он сам проводил их через камыши, а после, под утро, пока СС спало, выводил их. Гиммлер, конечно же, узнал об этом. Вот тогда-то он и сказал: «Придется принимать его таким, каков он есть...»

(В этом же коттедже Геббельс завизировал указ, присланный ему из канцелярии Геринга, обязывавший берлинское гестапо уничтожить в трехдневный срок шестьдесят тысяч евреев, работавших в промышленности; именно здесь он написал письмо Адольфу Розенбергу, предлагая уничтожить три миллиона чехов – вместо полутора миллионов, как было запланировано; именно здесь он подготовил план пропагандистской кампании по поводу уничтожения Ленинграда...)

«Геринг говорил мне, – продолжал Геббельс в своих дневниках, – о том, что Африка нам не нужна. „Нам надо думать о силе англо-американцев. Мы потеряем Африку так или иначе“. Он направил туда своего заместителя по люфтваффе фельдмаршала Альберта Кессельринга. Снова и снова он спрашивал меня, где большевики берут резервы солдат и оружия. Недоумевал, как британская плутократия может сотрудничать с большевиками, особенно отмечая приветствие Черчилля по поводу двадцатипятилетия Красной армии. Очень хорошо говорил об антибольшевистской пропаганде. Его впечатляли мои дальнейшие планы в этой области. Он, правда, апатичен. Надо его взбодрить. Руководство без него невозможно.

Геринг говорит: „Наши поражения на востоке эти сволочи генералы объясняют условиями русской зимы, а это ложь! Паулюс – герой?! Да он же скоро будет выступать по московскому радио! Зачем мы врем народу, что он погиб героем? Фюрер не отдыхал три года. Он ведет жизнь спартанца, сидя в бункере, он не видит воздуха. Три года войны страшнее для него, чем пятьдесят обычных лет. Но он не хочет меня слушать. Фюрера надо освободить от командования армией. Как всегда во время кризисов в партии, его ближайшие соратники должны сплотиться вокруг него и спасти!“

Геринг не тешит себя иллюзиями, что будет с нами, проиграй мы войну: один еврейский вопрос чего стоит!

– Война кончится политическим крахом, – согласился я с ним.

Тут я ему и предложил вместо „комитета трех“ создать совет по делам обороны рейха во главе с человеком, помогавшим фюреру в революции. Геринг был потрясен, долго колебался, но после дал принципиальное согласие. Геринг хочет победить Гиммлера. Функ и Лей побеждены мной. Шпеер вообще мой человек. Геринг решил ехать в Берлин сразу после полета в Италию. Там он встретится с нами. Шпеер перед этим побеседует с фюрером. Я тоже. Вопрос назначений решим позже.

9 марта 1943 года. Прилетел в Винницу. Встретил Шпеера. Тот сказал, что фюрер чувствует себя хорошо, но очень зол на Геринга из-за бомбежек Германии. Я был принят фюрером и был счастлив, что провел с ним весь день. Подробно доложил ему о налетах на Берлин. Он слушал меня внимательно и очень ругал Геринга. В связи с Герингом говорил и о генералах. Сказал, что не верит ни одному из них, только поэтому командует армией.

12 марта 1943 года. Я приказал напечатать в нашей прессе английские требования репараций к германскому народу в случае нашего поражения. Это потрясет немцев. Два часа ругался с Риббентропом, который требует считать Францию суверенной страной и не распространять на нее пропаганду партии. Слава богу, Геринг стал чаще появляться на людях. Его авторитет надо укреплять.

12 апреля 1943 года. Выехал на конференцию, созванную Герингом по вопросу о кризисе руководства. Мы с Функом приехали в Фрейлассинг, и здесь у меня начался приступ. Я вызвал профессора Морелла, и он запретил мне ехать дальше. На конференции Заукель дрался против Шпеера.

20 апреля 1943 года. Демонстрация в честь 54-летия фюрера. Меня посетил Лей и рассказал о конференции в Оберзальцберге. Ему не понравилась атмосфера. Он не верит, что Геринг может быть руководителем дел рейха, так как он скомпрометирован авиацией и бомбежками. Фюрер рад, что у меня с Герингом наладились отношения. Он считает, что, когда партийные авторитеты объединены на благо родины, от этого выигрывает только он и партия.

Пришел Шпеер. Считает, что Геринг устал, а Заукель болен паранойей. Ширах, как сказал фюрер, попал под влияние реакционеров из Вены и поэтому в своих выступлениях торпедует идею тотальной войны...»

Штирлиц скомкал листки с изображениями Геринга и Геббельса, поджег их над пламенем свечи и бросил листки в камин. Поворошил чугунной кочергой, снова вернулся к столу и закурил.

«Геббельс явно провоцировал Геринга. А в дневнике писал для себя и для потомства – слишком хитро. И вылезло все наружу. Но он истерик, он это не очень-то ловко делал. Видимо, лишний раз проявлял свою любовь к фюреру. Не было ли у него беседы с Гиммлером, когда он так дипломатично заболел и не приехал в Оберзальцберг на конференцию, идею которой сам подбросил Герингу?»

Штирлиц придвинул к себе два оставшихся листка: Гиммлер и Борман.

«Геринга и Геббельса я исключаю. Геринг, видимо, на переговоры мог бы пойти, но он в опале, он никому не верит, он лишен политической силы. Геббельс? Нет. Этот не пойдет. Этот фанатичен, этот будет стоять до конца. Один из двух: Гиммлер или Борман. На кого же из них ставить? На Гиммлера? Видимо, он никогда не сможет пойти на переговоры: он знает, какой ненавистью окружено его имя... Да, на Гиммлера...»

Именно в это время Геринг, осунувшийся, бледный, с разламывающей голову болью, возвращался к себе в Каринхалле из бункера фюрера. Сегодня утром он выехал на машине к фронту, к тому месту, где прорвались русские танки. Оттуда он сразу же ринулся к Гитлеру.

– На фронте нет никакой организации, – говорил он, – полный развал. Глаза солдат бессмысленны. Я видел пьяных офицеров. Наступление большевиков вселяет в армию ужас, животный ужас... Я считаю...

Гитлер слушал его, полузакрыв глаза, придерживая правой рукой локоть левой, которая все время тряслась.

– Я считаю... – повторил Геринг.

Но Гитлер не дал ему продолжать. Он тяжело поднялся, покрасневшие глаза его широко раскрылись, усы дернулись в презрении.

– Я запрещаю вам впредь выезжать на фронт! – сказал он своим прежним, сильным голосом. – Я запрещаю вам распространять панику!

– Это не паника, а правда, – впервые в своей жизни возразил фюреру Геринг и сразу же почувствовал, как у него заохлодели пальцы ног и рук. – Это правда, мой фюрер, и мой долг сказать вам эту правду!

– Замолчите! Занимайтесь лучше авиацией, Геринг. И не лезьте туда, где нужно иметь спокойную голову, провидение и силу. Это, как выяснилось, не для вас. Я запрещаю вам выезжать на фронт – отныне и навсегда.

Геринг был раздавлен и уничтожен, он чувствовал спиной, как вслед ему улыбались эти ничтожества – адъютанты фюрера.

В Каринхалле его уже ждали штабисты люфтваффе: он приказал собрать своих людей, выходя из бункера. Но совещание начать не удалось: адъютант доложил, что прибыл рейхсфюрер СС Гиммлер.

– Он просит разговора наедине, – сказал адъютант с той долей многозначительности, которая делает его работу столь загадочной для окружающих.

Геринг принял рейхсфюрера у себя в библиотеке. Гиммлер был, как всегда, улыбчив и спокоен. Он сел в кресло, снял очки, долго протирал стекла замшей, а потом без всякого перехода сказал:

– Фюрер больше не может быть вождем нации.

– А что же делать? – машинально спросил Геринг, не успев даже толком испугаться слов, произнесенных лидером СС.

– Вообще-то, в бункере войска СС, – так же спокойно, ровным своим голосом продолжал Гиммлер, – но не в этом в конечном счете дело. У фюрера парализована воля. Он не может принимать решений. Мы обязаны обратиться к народу.

Геринг посмотрел на толстую черную папку, лежавшую на коленях Гиммлера. Он вспомнил, как в сорок четвертом его жена, разговаривая по телефону с подругой, сказала: «Лучше приезжай к нам, говорить по телефону рискованно, нас подслушивают». Геринг вспомнил, как он тогда постучал пальцами по столу и сделал жене знак: «Не говори так, это безумие». И сейчас он смотрел на черную папку и думал, что там может быть диктофон и что этот разговор через два часа будет проигран фюреру. И тогда – конец.

«Он может говорить все, что угодно, – думал Геринг о Гиммлере, – отец провокаторов не может быть честным человеком. Он уже знает про мой сегодняшний позор у фюрера. Он пришел довести до конца свою партию».

Гиммлер, в свою очередь, понимал, что думает «наци № 2». Поэтому он, вздохнув, решил помочь ему. Он сказал:

– Вы – преемник, следовательно, вы – президент. Таким образом, я – рейхсканцлер.

Он понимал, что нация не пойдет за ним как за вождем СС. Нужна фигура прикрытия.

Геринг ответил – тоже автоматически:

– Это невозможно... – Он помедлил мгновение и добавил очень тихо, рассчитывая, что шепот не будет записан диктофоном, если он спрятан в черной папке: – Это невозможно. Один человек должен быть и президентом, и канцлером.

Гиммлер чуть улыбнулся, посидел несколько мгновений молча, а потом пружинисто поднялся, обменялся с Герингом партийным приветствием и неслышно вышел из библиотеки...

15.2.1945 (23 часа 54 минуты)

Штирлиц спустился из кабинета в гараж. По-прежнему бомбили, но теперь где-то в районе Цоссена – так ему, во всяком случае, казалось. Штирлиц открыл ворота, сел за руль и включил зажигание. Усиленный мотор его «хорьха» заурчал ровно и мощно.

«Поехали, машинка», – подумал он по-русски и включил радио. Передавали легкую музыку. Во время налетов обычно передавали веселые песенки. Это вошло в обычай: когда здорово били на фронте или сильно долбали с воздуха, радио передавало веселые, смешные программы. «Ну, едем, машинка. Быстро поедем, чтобы не попасть под бомбу. Бомбы чаще всего попадают в неподвижные цели. Поедем со скоростью семьдесят километров: значит, вероятность попадания уменьшится именно в семьдесят раз...»

Его радисты – Эрвин и Кэт – жили в Кепенике, на берегу Шпрее. Они уже спали, и Эрвин, и Кэт. Они в последнее время ложились спать очень рано, потому что Кэт ждала ребенка.

– Ты славно выглядишь, – сказал Штирлиц, – ты относишься к тем редким женщинам, которых беременность делает неотразимыми.

– Беременность делает красивой любую женщину, – ответила Кэт, – просто ты не имел возможности это замечать...

– Не имел возможности, – усмехнулся Штирлиц, – это ты верно сказала.

– Тебе кофе с молоком? – спросила Кэт.

– Откуда молоко? Я забыл привезти вам молока... Черт...

– Я выменял на костюм, – ответил Эрвин. – Ей надо обязательно хоть немного молока.

Штирлиц погладил Кэт по щеке и спросил:

– Ты поиграешь нам что-нибудь?

Кэт села к роялю и, перебрав ноты, открыла Баха. Штирлиц отошел к окну и тихо спросил Эрвина:

- Ты проверял, они тебе не всадили какую-нибудь штуку в отдушину?
- Я проверял, ничего нет. А что? Твои братья в СД уже изобрели новую гадость?
- А черт их знает.
- Ну? – спросил Эрвин. – Что?

Штирлиц хмыкнул и покачал головой.

– Понимаешь, – медленно заговорил он, – я получил задание... – Он снова хмыкнул. – Мне следует наблюдать за тем, кто из высших бонз собирается выйти на сепаратные переговоры с Западом. Они имеют в виду гитлеровское руководство, не ниже. Как тебе задача, а? Веселая? Там, видимо, считают, что если я не провалился за эти двадцать лет, значит, я все-силен. Неплохо бы мне стать заместителем Гитлера. Или вообще пробиться в фюреры, а? Я становлюсь брюзгой, ты замечаешь?

- Тебе это идет, – ответил Эрвин.
- Как ты думаешь рожать, девочка? – спросил Штирлиц, когда Кэт перестала играть.
- По-моему, нового способа еще не изобрели, – улыбнулась женщина.
- Я говорил позавчера с одним врачом-акушером... Я не хочу вас пугать, ребята... – Он подошел поближе к Кэт и попросил: – Играй, малыш, играй. Я не хочу вас пугать, хотя сам здорово испугался. Этот старый доктор сказал мне, что во время родов он может определить происхождение любой женщины.

– Я не понимаю, – сказал Эрвин.

Кэт оборвала музыку.

– Не пугайся. Сначала выслушай, а после станем думать, как вылезать из каши. Понимаешь, женщины-то кричат во время родов.

– Спасибо, – ответила Кэт, – а я думала, они поют песенки.

Штирлиц покачал головой, вздохнул:

– Понимаешь, они кричат на родном языке. На диалекте той местности, где родились. Значит, тебе предстоит кричать «мамочка» по-рязански...

Кэт продолжала играть, но Штирлиц увидел, как глаза ее – вдруг сразу – набухли слезами.

- Что станем делать? – спросил Эрвин.
- А если отправить вас в Швецию? Я, пожалуй, смогу это устроить.
- И останешься без последней связи? – спросила Кэт.
- Здесь буду я, – сказал Эрвин.

Штирлиц отрицательно покачал головой:

– Одну тебя не выпустят. Только если вместе с ним: он, как инвалид войны, нуждается в лечении в санатории, есть приглашение от немецких родственников из Стокгольма... Одну тебя не пустят. Ведь его дядя у нас числится шведским нацистом, а не твой...

– Мы останемся здесь, – сказала Кэт, – ничего. Я стану кричать по-немецки.

– Можешь добавлять немного русской брани, но обязательно с берлинским акцентом, – пошутил Штирлиц. – Решим это завтра: подумаем не спеша и без героических эмоций. Поехали, Эрвин, надо выходить на связь. В зависимости от того, что мне завтра ответят, мы и примем решение.

Через пять минут они вышли из дома. Эрвин в руке держал чемодан, в чемодане была рация. Они отъехали километров пятнадцать, к Рансдорфу, и там, в лесу, Штирлиц выключил мотор. По-прежнему продолжалась бомбежка. Эрвин посмотрел на часы и сказал:

- Начали?
- Начали.

«*АЛЕКСУ*. По-прежнему убежден, что ни один из серьезных политиков Запада не пойдет на переговоры с СС. Однако, поскольку задание получено, приступаю к его реализации.

Считаю, что оно может быть выполнено, если я сообщу часть полученных от вас данных Гиммлеру. Опираясь на его поддержку, я смогу выйти в дальнейшем на прямое наблюдение за теми, кто, по-вашему, нащупывает каналы возможных переговоров. Мой „донос“ Гиммлеру – частности я организую здесь, на месте, без консультаций с вами – поможет мне информировать вас обо всех новостях как в плане подтверждения вашей гипотезы, так и в плане опровержения ее. Иного пути в настоящее время не вижу. В случае одобрения прошу передать „добро“ по каналу Эрвина. *ЮСТАС*».

Это донесение произвело в Москве впечатление разорвавшейся бомбы.

– Он на грани провала, – сказал руководитель Центра. – Если он пойдет напрямую к Гиммлеру – провалится сразу же, ничто его не спасет. Даже если предположить, что Гиммлер решит поиграть им... Хотя вряд ли, не та он фигура для игр рейхсфюрера СС. Передайте ему завтра утром немедленный и категорический запрет.

То, что знал Центр, Штирлиц знать не мог, потому что сведения, подобранные Центром за несколько последних месяцев, давали совершенно неожиданное представление о Гиммлере.

Информация к размышлению (Гиммлер)

Он проснулся сразу – словно ощутив толчок в плечо. Он сел на кровати и быстро огляделся. Было очень тихо. Светящиеся стрелки маленького будильника показывали пять часов.

«Рано, – подумал Гиммлер, – надо еще поспать хоть часок».

Он зевнул и повернулся к стене. В открытую форточку доносился шум леса. С вечера шел снег, и Гиммлер представил себе, какая сейчас красота в этом тихом, пустом, зимнем лесу. Он вдруг подумал: ему было бы страшно одному уйти в лес – так страшно, как в детстве.

Гиммлер поднялся с кровати, накинул халат и пошел к столу. Не зажигая света, сел на краешек деревянного кресла и опустил руку на трубку черного телефона.

«Надо позвонить дочери, – подумал он. – Девочка обрадуется. У нее так мало радостей».

Под стеклом большого письменного стола лежало большое фото: двое мальчишек улыбались озорно и беззаботно.

Гиммлер неожиданно ясно увидел Бормана и подумал, что этот негодяй виноват в том, что он не может сейчас позвонить дочери и сказать: «Здравствуй, крыска, это папа. Какие сны ты видела сейчас, солнце мое?» Он не может позвонить и мальчишкам из-за того, что они родились не от законного брака. Гиммлер помнил, как Борман молчал, когда в сорок третьем году он попросил в долг из партийной кассы восемьдесят тысяч марок, чтобы построить Марте, матери двух своих мальчиков, небольшую виллу в Баварии, подальше от бомбежек. Он помнил, как фюрер, узнав об этом от Бормана, несколько раз недоуменно разглядывал его во время обедов в ставке. Он из-за этого не смог развестись с женой, хотя не жил в семье уже шесть лет.

«Борман здесь ни при чем, – продолжал думать Гиммлер, – я не прав. В этом моем горе толстая скотина ни при чем. Я бы пошел на все унижения, связанные с разводом. Я бы пошел на развод, хотя устав СС относится отрицательно к разрушению семьи. Но я никогда не смог бы травмировать девочку».

Гиммлер улыбнулся, вспомнив самое начало, когда было голодно и когда он жил с женой в маленькой, темной и холодной комнате в Нюрнберге. Всего восемнадцать лет тому назад. Он тогда был секретарем у Грегора Штрассера, «брата» фюрера. Он мотался по Германии, спал на вокзалах, питался хлебом и бурдой, именовавшейся кофе, налаживая связи между партийными организациями. Тогда, в 1927 году, он еще не понимал, что идея Штрассера – создать охранные отряды СС – была рождена начинавшейся борьбой против Рэма, вождя СА. Гиммлер тогда верил, что создание СС необходимо для охраны вождя партии от красных. Он тогда всерьез верил, что главная задача красных – уничтожить великого вождя, единственного друга трудящихся немцев Адольфа Гитлера. Он повесил над своим столом огромный портрет Гитлера. Когда однажды Гитлер заехал к Штрассеру и увидел под своим громадным портретом худенького веснушчатого молодого человека, он сказал:

– Стоит ли одного из лидеров партии так высоко поднимать над остальными национал-социалистами?

Гиммлер ответил:

– Я состою в рядах партии, у которой не лидер, а вождь!

Гитлер запомнил это.

Предлагая фюреру назначить Гиммлера рейхсфюрером вновь организовавшихся отрядов СС, Штрассер рассчитывал, что СС будут служить в первую голову ему, Штрассеру, в его борьбе против Рэма – за влияние на партию и на фюрера. Двести первых эсэсовцев объединились под его началом, всего двести. Но без СС не было бы победы фюрера в 1933 году – Гиммлер отдавал себе в этом отчет. Однако после победы фюрер назначил его всего лишь гла-

вой криминальной полиции Мюнхена. К Гиммлеру приехал Грегор Штрассер, человек, принимавший его в партию, выдвинувший идею создания отрядов СС, теоретик и идеолог партии. К тому времени Штрассер находился в оппозиции к фюреру, прямо заявляя ветеранам партии, что Гитлер продался денежным тузам тяжелой индустрии, этим кровавым капиталистам Круппу и Тиссену. «Народ пошел за нами только потому, что мы объявили священную войну денежным тузам – и еврейского, и немецкого происхождения. Гитлер вошел с ними в контакт. Он плохо кончит, Генрих, – говорил тогда Штрассер, – СС могут стать еще большей силой, и в вашей власти вернуть движение к его честному и благородному началу».

Но Гиммлер тогда оборвал Штрассера, сказав ему, что верность фюреру – долг каждого члена НСДАП.

– Вы можете вынести ваши сомнения на съезд, но вы не имеете права использовать ваш авторитет в оппозиционной борьбе – это наносит ущерб священному единству партии.

Гиммлер тщательно наблюдал за тем, что происходит в центре. Он видел, что упоение победой отодвинуло – в определенной мере – практическую работу на задний план, что вожди партии в Берлине выступают на митингах, проводят ночи на дипломатических приемах – словом, пожинают сладкие плоды национальной победы. Гиммлер считал, что это все преждевременно. И он за какой-то месяц организовал в Дахау первый показательный концентрационный лагерь.

– Это хорошая школа трудового воспитания истинной германской гражданственности у тех восьми миллионов, которые голосовали за коммунистов, – говорил Гиммлер. – Нелепо сажать все эти восемь миллионов в концлагерь. Надо сначала создать атмосферу террора в одном лагере и постепенно выпускать оттуда сломавшихся. Эти отпущенники будут лучшими агитаторами практики национал-социализма. Они смогут внушить и друзьям, и детям религиозное послушание нашему режиму.

Личный представитель Геринга много часов провел в Дахау, а после спросил Гиммлера:

– Не кажется ли вам, что концлагерь вызовет резкое осуждение в Европе и Америке – хотя бы в силу того, что эта мера антиконституционна?

– Почему вы считаете арест врагов режима неконституционным?

– Потому что большинство людей, арестованных вами, не были даже в здании суда. Никакого обвинительного заключения, никакого намека на законность...

Гиммлер обещал подумать над этим вопросом. Представитель Геринга уехал, а Гиммлер написал личное письмо Гитлеру, в котором обосновал необходимость арестов и заключения в концлагерь без суда и следствия.

«Это, – писал он фюреру, – всего лишь гуманное средство спасти врагов национал-социализма от народного гнева. Не посади мы врагов нации в концлагерь, мы не могли бы отвечать за их жизнь: народ устроил бы самосуд над ними».

В тот же день Гиммлер собрал грандиозный митинг и сказал все это там, слово в слово, и на завтра его речь была напечатана во всех газетах.

А когда в конце 1933 года в берлинской полиции, подчиненной непосредственно Герингу, разразился скандал со взяточниками, Гиммлер ночью выехал из Мюнхена и утром получил аудиенцию у фюрера. Он просил отдать «продажную, старорежимную полицию» под контроль «лучших сыновей народа» – СС.

Гитлер не хотел обижать Геринга. Он просто крепко пожал Гиммлеру руку и, проводив его до дверей кабинета, близко, изучающе заглянул в глаза и вдруг, весело улыбувшись, заметил:

– В будущем все-таки присылайте ваши умные предложения на день пораньше: я имею в виду вашу записку мне и идентичное выступление на митинге в Мюнхене.

Гиммлер уехал расстроенным. Но спустя месяц без вызова в Берлин он был назначен шефом политической полиции Мекленбурга и Любека; еще через месяц, двадцатого декабря,

шефом политической полиции Бадена, двадцать первого декабря – Гессена, двадцать четвертого декабря – Бремена, двадцать пятого – Саксонии и Тюрингии, двадцать седьмого – Гамбурга. За одну неделю он стал шефом полиции Германии, исключая Пруссию, по-прежнему подчинявшуюся Герингу.

Гитлер однажды предложил Герингу компромисс: назначить Гиммлера шефом секретной полиции всего рейха, но с подчинением его Герингу. Рейхсмаршал принял это компромиссное предложение фюрера. Он дал указание своему секретариату провести через канцелярию фюрера решение о присвоении Гиммлеру титула заместителя министра внутренних дел и шефа секретной полиции с правом участия в заседаниях кабинета, когда обсуждались вопросы полиции. Фразу «и безопасности рейха» он вычеркнул собственноручно. Это было бы слишком много для Гиммлера.

Как только Гиммлер увидел это напечатанным в газетах, он попросил сотрудников, ведавших прессой, прокомментировать свое назначение иным образом. Геринг допустил главную ошибку, пойдя на компромисс: он забыл, что никто еще не отменил главный титул Гиммлера – рейхсфюрер СС. И вот назавтра все центральные газеты вышли с комментарием: «Важная победа национал-социалистской юриспруденции – объединение в руках рейхсфюрера СС Гиммлера криминальной, политической полиции, гестапо и жандармерии. Это предупреждение всем врагам рейха: карающая рука национал-социализма занесена над каждым оппозиционером, над каждым противником – внутренним и внешним».

Он перебрался в Берлин, на шикарную виллу «Ам доннерстаг», рядом с Риббентропом. И пока продолжалось ликование по случаю победы над коммунистами, Гиммлер вместе со своим помощником Гейдрихом начал собирать досье. Досье на своего бывшего шефа Грегора Штрассера Гиммлер вел лично. Он понял, что победить в полной мере он сможет, только пролив кровь Штрассера – своего учителя и первого наставника. Поэтому он с особой тщательностью собирал по крупицам все, что могло подвести Штрассера под расстрел.

В июне 1934 года Гитлер вызвал Гиммлера для беседы по поводу предстоящих антирэмовских акций. Гиммлер ждал этого. Он понимал, что акция против Рэма только повод к уничтожению всех тех, с кем начинал Гитлер. Для тех, с кем он начинал, Адольф Гитлер был человеком, братом по партии, теперь же Адольф Гитлер должен стать для немцев вождем и богом. Ветераны партии стали для него обузой.

Гиммлер ясно понимал это, слушая, как Гитлер метал громы и молнии по адресу той «абсолютно незначительной части ветеранов», которые попали под влияние вражеской агитации. Гитлер не мог говорить всю правду никому, даже ближайшим друзьям. Гиммлер понимал и это, он помог фюреру: положил на стол досье на четыре тысячи ветеранов, практически на всех тех, с кем Гитлер начинал строить национал-социалистскую партию. Он психологически точно рассчитал, что Гитлер не забудет этой услуги: ничто так не ценится, как помощь в самооправдании злодейства.

Но Гиммлер пошел еще дальше: поняв замысел фюрера, он решил стать в такой мере ему необходимым, чтобы будущие акции подобного рода проходили только по его инициативе.

Поэтому по дороге на дачу Геринга Гиммлер разыграл спектакль: подставной агент в форме рэмовского СА выстрелил в открытую машину фюрера, и Гиммлер, закрыв вождя своим телом, закричал – первым в партии:

– *Мой фюрер*, как я счастлив, что могу отдать свою кровь за вашу жизнь!

До этого никто не говорил «мой фюрер». Гиммлер стал автором обращения к «богу», к «своему богу».

– Вы с этой минуты мой кровный брат, Генрих, – сказал Гитлер, и эти его слова услышали люди, стоявшие вокруг.

А после того как Гиммлер провел операцию по уничтожению Рэма, после того как был расстрелян его учитель Штрассер и еще четыре тысячи ветеранов партии, борзописцы немед-

ленно сочинили миф о том, что именно Гиммлер стоял рядом с фюрером с самого начала движения.

Впоследствии, дружески пожимая руки Герингу, Гессу и Геббельсу на «тафельрунде» у фюрера, куда допускались только самые близкие, Гиммлер ни на минуту не прекращал собирать досье на «своих боевых друзей».

16.2.1945 (03 часа 12 минут)

Подбросив Эрвина домой, Штирлиц ехал очень медленно, потому что он уставал после каждого сеанса связи с Центром.

Дорога шла через лес. Ветер стих. Небо было чистое, звездное, высокое.

«Хотя, – продолжал рассуждать Штирлиц, – Москва права, допуская возможность переговоров. Даже если у них нет никаких конкретных данных – такой допуск возможен, поскольку он логичен. В Москве знают о той грызне, которая идет тут вокруг фюрера. Раньше эта грызня была целенаправлена: стать ближе к фюреру. Теперь возможен обратный процесс. Все они – и Геринг, и Борман, и Гиммлер, и Риббентроп – заинтересованы в том, чтобы сохранить рейх. Сепаратный мир для каждого из них – если кто-либо из них сможет его добиться – будет означать личное спасение. Каждый из них думает о себе, но никак не о судьбах Германии и немцев. В данном случае пятьдесят миллионов немцев – лишь карты в их игре за себя. Пока они держат в своих руках армию, полицию, СС, они могут повернуть рейх куда угодно, лишь бы получить гарантии личной неприкосновенности...»

Острый луч света резанул по глазам Штирлица. Он зажмурился и автоматически нажал на педаль тормоза. Из кустов выехали два мотоцикла СС. Они стали поперек дороги, и один из мотоциклистов направил на машину Штирлица автомат.

– Документы, – сказал мотоциклист.

Штирлиц протянул ему удостоверение и спросил:

– А в чем дело?

Мотоциклист посмотрел его удостоверение и, козырнув, ответил:

– Нас подняли по тревоге. Ищем радистов.

– Ну и как? – спросил Штирлиц, пряча удостоверение в карман. – Пока ничего?

– Ваша машина – первая.

– Хотите заглянуть в багажник? – улыбнулся Штирлиц.

Мотоциклисты засмеялись:

– Впереди две воронки, осторожнее, штандартенфюрер.

– Спасибо, – ответил Штирлиц. – Я всегда осторожен...

«Это после Эрвина, – понял он, – они перекрывают дороги на восток и на юг. В общем, довольно наивно, хотя в принципе правильно, если иметь дело с дилетантом, не знающим Германии».

Он объехал воронки – они были свежие: в ветровик пахнуло тонким запахом гари.

«Вернемся к нашим баранам, – продолжал думать Штирлиц. – Впрочем, не такие уж они бараны, как их рисуют Кукрыниксы и Ефимов. Значит, отмычка, которую я для себя утверждаю: личная заинтересованность в мире для Риббентропа, Геринга или Бормана. После того как я отработаю высшие сферы рейха, следует самым внимательным образом присмотреться к Шпееру: человек, ведающий промышленностью Германии, не просто талантливый инженер; наверняка он серьезный политик, а этой фигурой, которая может выйти к лидерам делового мира Запада, я еще толком-то и не занимался».

Штирлиц остановил машину возле озера. Он не видел в темноте озера, но знал, что оно начинается за этими соснами. Он любил приезжать сюда летом, когда густой смоляной воздух был расчерчен желтыми стволами деревьев и белыми солнечными лучами, пробившимися

сквозь игольчатые могучие кроны. Он тогда уходил в чащу, ложился в высокую траву и лежал недвижно – часами. Поначалу ему казалось, что его тянет сюда оттого, что здесь тихо и безлюдно, и нет рядом шумных пляжей, и высокие желто-голубые сосны, и белый песок вокруг черного озера. Но потом Штирлиц нашел еще несколько таких же тихих, безлюдных мест вокруг Берлина – и дубовые перелески возле Науэна, и громадные леса возле Заксенхаузена, казавшиеся синими, особенно весной, в пору таяния снега, когда обнажалась бурая земля. Потом Штирлиц понял, что его тянуло именно к этому маленькому озеру: одно лето он прожил на Волге, возле Гороховца, где были точно такие же желто-голубые сосны, и белый песок, и черные озерца в чащобе, прораставшие к середине лета зеленью. Это желание приехать к озерцу было в нем каким-то автоматическим, и порой Штирлиц боялся своего постоянного желания, ибо – чем дальше, тем больше, – он уезжал отсюда расслабленным, размягченным, и его тянуло выпить... Когда в двадцать втором году он ушел по заданию Дзержинского из Владивостока с остатками Белой армии и поначалу работал по разложению эмиграции изнутри – в Японии, Маньчжурии и Китае, ему не было так трудно, потому что в этих азиатских странах ничто не напоминало ему дом: природа там изящней, миниатюрней, она аккуратна и чересчур красива. Когда же он получил задание Центра переключиться на борьбу с нацистами, когда ему пришлось отправиться в Австралию, чтобы там в германском консульстве в Сиднее заявить о себе, о фон Штирлице, обворованном в Шанхае, он впервые испытал приступ ностальгии – в поездке на попутной машине из Сиднея в Канберру. Он ехал через громадные леса, и ему казалось, что он перенесся куда-то на Тамбовщину, но, когда машина остановилась на семьдесят восьмой миле, возле бара, и он пошел побродить, пока его спутники ожидали сандвичей и кофе, он понял, что рощи эти совсем не те, что в России, – они эвкалиптовые, с пряным, особым, очень приятным, но совсем не родным запахом. Получив новый паспорт и проработав год в Сиднее в отеле у хозяина-немца, который деньгами поддерживал нацистов, Штирлиц переехал по его просьбе в Нью-Йорк, там устроился на работу в германское консульство, вступил в члены НСДАП, там выполнил первые поручения секретной службы рейха. В Португалию его перевели уже официально – как офицера СД. Он там работал в торговой миссии до тех пор, пока не вспыхнул мятеж Франко в Испании. Тогда он появился в Бургосе в форме СД – впервые в жизни. И с тех пор жил большую часть времени в Берлине, выезжая в краткосрочные командировки: то в Загреб, то в Токио (там перед войной он в последний раз видел Зорге), то в Берн. И единственное место, куда его тянуло, где бы он ни путешествовал, было это маленькое озерцо в сосновом лесу. Это место в Германии было его Россией, здесь он чувствовал себя дома, здесь он мог лежать на траве часами и смотреть на облака. Привыкший анализировать и события, и людей, и мельчайшие душевные повороты в себе самом, он вывел, что тяга именно в этот сосновый лес изначально логична и в этой тяге нет ничего мистического, необъяснимого. Он понял это, когда однажды уехал сюда на целый день, взяв приготовленный экономкой завтрак: несколько бутербродов с колбасой и сыром, флягу с молоком и термос с кофе. Он в тот день взял спиннинг – была пора щучьего жора – и две удочки. Штирлиц купил полкруга черного хлеба, чтобы прикормить карпа, – в таких озерцах было много карпов, он знал это. Штирлиц раскрошил немного черного хлеба возле камышей, потом вернулся в лес, разложил на плед свой завтрак – аккуратный, в целлофановых мешочках, похожий на бутафорию в витрине магазина. И вдруг, когда он налил в раздвижной синий стакан молока, ему стало скучно от этих витринных бутербродов, и он стал ломать черный хлеб и есть его большими кусками и запивать молоком, и ему стало сладостно-горько, но в то же время весело и спокойно. Он вспомнил такую же траву, и такой же синий лес, и руки няни – он помнил только ее пальцы, длинные и ласковые, и такой же черный хлеб, и молоко в глиняной кружке, и осу, которая ужалила его в шею, и белый песок, и воду, к которой он с ревом кинулся, и смех няни, и тонкий писк мошки в предзакатном белом небе...

«Зачем я остановился? – подумал Штирлиц, медленно прохаживаясь по темному шоссе. – А, я хотел отдохнуть... Вот я и отдохнул. Не забыть бы завтра, когда поеду к Эрвину за ответом от Алекса, взять консервированное молоко. Наверняка я забуду. Надо сегодня же положить молоко в машину, и обязательно на переднее сиденье».

Информация к размышлению (Гиммлер)

Гиммлер поднялся с кресла, отошел к окну: зимний лес был поразительно красив – снежные лапы искрились под лунным светом, тишина лежала над миром.

Гиммлер вдруг вспомнил, как он начал операцию против самого близкого фюреру человека – против Гесса. Правда, какую-то минуту Гиммлер тогда был на волоске от гибели: Гитлер был человек парадоксальных решений. Гиммлер получил от своих людей кинопленку, на которой был заснят Гесс в туалете – он занимался онанизмом. Гиммлер немедленно поехал с этой пленкой к Гитлеру и прокрутил ее на экране. Фюрер рассвирепел. Была ночь, но он приказал вызвать к себе Геринга и Геббельса, а Гесса пригласить в приемную. Геринг приехал первым – очень бледный. Гиммлер знал, почему так испуган рейхсмаршал: у него проходил бурный роман с венской балеринкой. Гитлер попросил своих друзей посмотреть «эту гнусность Гесса». Геринг хохотал. Гитлер накричал на него:

– Нельзя же быть бессердечным человеком!

Он пригласил Гесса в кабинет, подбежал к нему и закричал:

– Ты грязный, вонючий негодяй! Ты грешишь ононом!

И Гиммлер, и Геринг, и Геббельс понимали, что они присутствуют при крушении исполина – второго человека партии.

– Да, – ответил Гесс неожиданно для всех очень спокойно. – Да, мой фюрер! Я не стану скрывать этого! Почему я делаю это? Почему я не сплю с актрисами? – Он не взглянул на Геббельса, но тот вжался в кресло (назревал скандал с его любовницей – чешской актрисой Бааровой). – Почему я не езжу на ночь в Вену, на представления балета? Потому, что я живу только одним – партией! А партия и ты, Адольф, для меня одно и то же! У меня нет времени на личную жизнь! Я живу один!

Гитлер обмяк, подошел к Гессу, неловко обнял его, потрепал по затылку. Гесс выиграл бой. Гиммлер затаился: он знал, что Гесс умеет мстить. Когда Гесс ушел, Гитлер сказал:

– Гиммлер, подберите ему жену. Я понимаю этого прелестного и верного движению человека. Покажите мне фотографии кандидаток: он примет мою рекомендацию.

Гиммлер понял: сейчас все может решить мгновение. Дождавшись, когда Геринг и Геббельс разъехались по домам, Гиммлер сказал:

– Мой фюрер, вы спасли национал-социализму его верного борца. Мы все ценим подвижничество Гесса. Никто не смог бы так мудро решить его судьбу. Поэтому позвольте мне сейчас, не медля, привезти вам еще некоторые материалы! Вашим солдатам надо помочь так же, как вы помогли Гессу.

И он привез Гитлеру досье на вождя трудового фронта Лея. Тот был алкоголиком, его пьяные скандалы не были секретом ни для кого, кроме Гитлера. Гиммлер выложил досье на «бабельсбергского бычка» – Геббельса; его шальные связи с женщинами отнюдь не чистых кровей шокировали истинных национал-социалистов. Лег на стол Гитлеру в ту ночь и компрометирующий материал на Бормана – подозрение в гомосексуализме.

– Нет-нет, – заступился Гитлер за Бормана, – у него много детей. Это сплетня.

Гиммлер не стал разубеждать Гитлера, но он заметил, с каким обостренным любопытством фюрер листал материалы, как он по несколько раз прочитывал донесения агентов, и Гиммлер понял, что он выиграл фюрера – окончательно.

Десятилетний юбилей Гиммлера как вождя СС Гитлер приказал отметить по всей Германии. С этого дня все гауляйтеры – партийные вожди провинций – поняли, что Гиммлер – единственный человек после Гитлера, обладающий полнотой власти. Все местные организа-

ции партии начали посылать основную информацию в два адреса: и в штаб партии, к Гессу, и в канцелярию Гиммлера. Материалы, поступавшие Гиммлеру от особо доверенной группы агентов, не проходили через отделы, а сразу оседали в его личных бронированных архивах: это были компрометирующие данные на вождей партии. А в 1942 году Гиммлер положил в свой сейф первые компрометирующие документы на фюрера.

В сорок третьем году, после Сталинграда, он решился показать эти документы одному из своих ближайших друзей – доктору Керстену, лучшему врачу и массажисту рейха. Он тогда запер дверь и достал из сейфа копию истории болезни фюрера. Керстен от неожиданности опустился на диван – из врачебного дела со всей очевидностью явствовало: фюрер перенес жесточайший сифилис.

Пролистав все семьдесят страниц, Керстен тихо сказал:

– У него прогрессивный паралич в первой стадии... Он уже ненормален психически...

– Может быть, вы согласитесь лечить его? – спросил Гиммлер.

– Фюрер слишком опасно болен, чтобы менять врачей. Кто захочет его гибели – тот сменит его врачей...

Вот именно тогда Гиммлер дал молчаливое согласие начальнику своей политической разведки бригаденфюреру СС Вальтеру Шелленбергу прощупать западных союзников – в какой мере они готовы заключить почетный мир с Германией. Он следил за тем, как заговорщики из генеральской оппозиции вели свою игру с Алленом Даллесом, представителем американской разведки в Берне. Он особенно долго сидел над сообщением одного из заговорщиков: «Представители Запада с охотой склонялись к переговорам и к миру с рейхом из-за страха перед большевизмом, но имели опасения в отношении неустойчивого гения фюрера, которого они считали не заслуживающим доверия партнером по переговорам. Они ищут маленькую группу интеллигентных, трезвых и достойных доверия лиц, таких как рейхсфюрер СС...»

«Я был жалким трусом, – продолжал думать Гиммлер, по-прежнему прислушиваясь к тишине соснового леса. – Двадцатого июля тысяча девятьсот сорок четвертого года, через пять часов после покушения на Гитлера, я мог бы стать фюрером Германии. У меня была возможность взять все в свои руки в Берлине, пока царили паника и хаос. У меня была возможность не бросать Гердлера в тюрьму, а послать его в Берн к Даллесу с предложением мира. Фюрера, Геббельса и Бормана расстрелять – как тогда, в тридцать четвертом, Штрасера. Пусть бы они тоже метались по комнате, и падали на пол, и молили о пощаде... Хотя нет... Гитлер бы никогда не молил. Впрочем, и Геббельс тоже. Молил бы о пощаде Борман. Он очень любит жизнь и в высшей мере трезво смотрит на мир... А я проявил малодушие, я вспоминал свои лучшие дни, проведенные возле фюрера, я оказался тряпкой... Во мне победили сантименты...»

Гиммлер тогда постарался выжать максимум выгод для себя лично из этого июльского проигрыша. Подавил путч в Берлине Геббельс, но Гиммлер вырвал у него победу. Он знал, на что бить. Фанатик Геббельс мог отдать свою победу, лишь оглушенный партийной фразеологией, им же рожденной, а потому с такой обостренной чувствительностью им же и воспринимаемой. Он объяснил Геббельсу необходимость немедленного возвеличения роли СС и гестапо в подавлении мятежа. «Мы должны объяснить народу, – говорил он Геббельсу, – что ни одно другое государство не могло бы столь решительно обезвредить банду наемных убийц, кроме нашего – имеющего героев СС».

В печати и по радио началась кампания, посвященная «подвигу СС». Фюрер тогда был особенно добр к Гиммлеру. И какое-то время Гиммлеру казалось, что генеральный проигрыш оборачивается выигрышем: особенно в день девятого ноября, когда фюрер, впервые в истории рейха, поручил ему, именно ему, рейхсфюреру СС, произнести вместо себя праздничную речь в Мюнхене.

Он и сейчас помнил – обостренно, жутковато – то сладостное ощущение, когда он поднялся на трибуну фюрера, а рядом с ним, но – ниже, там, где при фюрере всегда стоял он, толпились Геббельс, Геринг, Риббентроп, Лей. И они аплодировали ему, и по его знаку вскидывали руку в партийном приветствии, и, угадывая паузы, начинали овацию, которую немедленно подхватывал весь зал. Пускай они ненавидели его, считали недостойным этой великой роли, пускай, но этика национал-социализма обязывала их перед лицом двух тысяч съехавшихся сюда гауляйтеров оказывать высшие почести партии ему, именно ему – Гиммлеру.

Борман... Ах как он ненавидел Бормана! Именно Борман, обеспокоенный таким взлетом Гиммлера, сумел победить его. Он знал фюрера, как никто другой, знал, что если Гитлер любит человека и верит ему, то нельзя говорить об этом человеке ничего плохого. Поэтому Борман посоветовал фюреру:

– Надежды на армию сугубо сомнительны. Великое счастье нации, что у нас есть дивизия СС – надежда партии и национал-социализма. Только вождь СС, мой друг Гиммлер, может взять на себя командование Восточным фронтом, группой армий «Висла». Только под его командованием СС и армии, подчиненные ему, отбросят русских и сокрушат их.

Гиммлер прилетел в ставку фюрера на следующий день. Он привез указ о том, что все гауляйтеры Германии, ранее подчинявшиеся Борману, теперь должны перейти в параллельное подчинение и к нему, рейхсфюреру СС. Он приготовил смертельный удар Борману. И даже несколько удивился той легкости, с какой фюрер утвердил это решение. Он все понял спустя минуту после того, как фюрер подписал бумагу.

– Я поздравляю вас, Гиммлер. Вы назначены главнокомандующим группой армий «Висла». Никто, кроме вас, не сможет разгромить большевистские полчища. Никто, кроме вас, не сможет наступить на горло Сталину и продиктовать ему мои условия мира!

Это был крах. Шел январь 1945 года, никаких надежд на победу не было. К черту эти сентиментальные иллюзии! Ставка одна: немедленный мир с Западом и совместная борьба против большевистских полчищ.

Гиммлер поблагодарил фюрера за столь высокое и почетное назначение и уехал к себе в ставку. Потом он был у Геринга: разговор не получился.

И вот он проснулся, и не может спать, и слушает тишину соснового леса, и боится позвонить дочери, брошенной им, потому что об этом может узнать Борман, и боится позвонить мальчишкам и их матери, которую он любит, потому что боится скандала: фюрер не прощает, как он говорит, «моральной нечистоплотности». Проклятый сифилитик... Моральная нечистоплотность... Гиммлер с ненавистью посмотрел на телефонный аппарат: машина, которую он создавал восемнадцать лет, сейчас сработала против него.

«Все, – сказал он себе, – все. Если я не начну борьбу за себя сейчас, не медля, я погиб».

Гиммлер мог предположить из агентурных сводок, что главнокомандующий группой войск в Италии фельдмаршал Кессельринг не будет возражать против переговоров с Западом. Об этом знали только Шелленберг и Гиммлер. Два агента, сообщившие об этом, были уничтожены: им устроили авиационную катастрофу, когда они возвращались к Кессельрингу. Из Италии – прямой путь в Швейцарию. А в Швейцарии сидит глава американской разведслужбы в Европе Аллен Даллес. Это уже серьезно. Это прямой контакт серьезных людей, тем более что друг Кессельринга – вождь СС в Италии генерал Карл Вольф – верный Гиммлеру человек.

Гиммлер снял трубку телефона и сказал:

– Пожалуйста, срочно вызовите генерала Карла Вольфа.

Карл Вольф был начальником его личного штаба. Он верил ему. Вольф начнет переговоры с Западом – от его, Гиммлера, имени.

Расстановка сил

Штирлиц и не думал завязывать никакой комбинации со Шлагом, когда пастора привели на первый допрос: он выполнял приказ Шелленберга. Побеседовав с ним три дня, он проникся интересом к этому старому человеку, державшемуся с удивительным достоинством и детской наивностью.

Беседуя с пастором, знакомясь с досье, собранным на него, он все чаще задумывался над тем, как мог бы пастор быть в будущем полезен для его дела.

Убедившись в том, что пастор не только ненавидит нацизм, не только готов оказать помощь существующему подполью – а в этом он уверился, прослушав разговор с провокатором Клаусом, – Штирлиц отводил в своей будущей работе роль и для Шлага. Он только не решил еще для себя, как целесообразнее его использовать.

Штирлиц никогда не гадал наперед, как будут развиваться события – в деталях. Часто он вспоминал эпизод: он вычитал это в поезде, когда пересекал Европу, отправляясь в Анкару, – эпизод врезался в память на всю жизнь. Однажды, писал дошлый литературовед, Пушкина спросили, что будет с прелестной Татьяной. «Спросите об этом у нее, я не знаю», – раздраженно ответил Пушкин. Штирлиц беседовал с математиками и физиками, особенно после того, как гестапо арестовало физика Рунге, занимавшегося атомной проблемой. Штирлиц интересовался, в какой мере теоретики науки заранее планируют открытие. «Это невозможно, – отвечали ему. – Мы лишь определяем направление поиска, все остальное – в процессе эксперимента».

В разведке все обстоит точно так же. Когда операция замышляется в слишком точных рамках, можно ожидать провала: нарушение хотя бы одной заранее обусловленной связи может повлечь за собой крушение главного. Увидеть возможности, нацелить себя на ту или иную узловую задачу, особенно когда работать приходится в одиночку, – так, считал Штирлиц, можно добиться успеха с большим вероятием.

«Итак, пастор, – сказал себе Штирлиц. – Займемся пастором. Он теперь, после того как Клаус уничтожен, практически попал в мое бесконтрольное подчинение. Я докладывал Шелленбергу о том, что связей пастора с экс-канцлером Брюнингом установить не удалось, и он, судя по всему, потерял к старику интерес. Зато мой интерес к нему вырос – после приказа Центра».

16.2.1945 (04 часа 45 минут)

(Из партийной характеристики члена НСДАП с 1939 года Айсмана, оберштурмбаннфюрера СС (IV отдел РСХА):

«Истинный ариец. Характер – приближающийся к нордическому, стойкий. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет служебный долг. Беспощаден к врагам рейха. Спортсмен, отмеченный призами на соревнованиях стрелков. Отменный семьянин. Связей, порочащих его, не имел. Отмечен наградами рейхсфюрера СС...»)

Мюллер вызвал оберштурмбаннфюрера Айсмана поздно ночью: он поспал после коньяка Кальтенбруннера и чувствовал себя отдохнувшим.

«Действительно, этот коньяк какой-то особый, – думал он, массируя затылок большим и указательным пальцами правой руки. – От нашего трещит голова, а этот здорово облегчает. Затылок потрескивает – от давления, не иначе, это в порядке вещей...»

Айсман посмотрел на Мюллера воспаленными глазами и улыбнулся своей обезоруживающей, детской улыбкой.

– У меня тоже раскалывается череп, – сказал он, – мечтаю о семи часах сна как о манне небесной. Никогда не думал, что пытка бессонницей – самая страшная пытка.

– Мне один наш русский агент, в прошлом свирепый бандюга, рассказывал, что они в лагерях варили себе какой-то хитрый напиток из чая – «чифир». Он и пьянит, и бодрит. Не попробовать ли нам? – Мюллер неожиданно засмеялся: – Все равно придется пить этот напиток у них в лагерях, так не пора ли заранее освоить технологию?

Мюллер верил Айсману, поэтому с ним он шутил зло и честно и так же разговаривал.

– Слушайте, – продолжал он, – тут какая-то непонятная каша заваривается. Меня сегодня вызвал шеф. Они все фантазеры, наши шефы... Им можно фантазировать – у них нет конкретной работы, а давать руководящие указания умеют даже шимпанзе в цирке... Понимаете, у него вырос огромный зуб на Штирлица...

– На кого?!

– Да-да, на Штирлица. Единственный человек в разведке Шелленберга, к которому я относился с симпатией. Не лизоблюд, спокойный мужик, без истерик и без показного рвения. Не очень-то я верю тем, кто вертится вокруг начальства и выступает без нужды на наших митингах... А он молчун. Я люблю молчунов... Если друг молчун – это друг. Ну а уж если враг – так это враг. Я таких врагов уважаю. У них есть чему поучиться...

– Я знаю Штирлица восемь лет, – сказал Айсман, – я был с ним под Смоленском и видел его под бомбами: он высечен из кремня и стали.

Мюллер поморщился:

– Что это вас на метафоры потянуло? С усталости? Оставьте метафоры нашим партийным бонзам. Мы, сыщики, должны мыслить местоимениями и глаголами: «он встретился», «она сказала», «он передал»... Вы что, не допускаете мысли...

– Нет, – ответил Айсман. – Я не могу поверить в нечестность Штирлица.

– Я тоже.

– Вероятно, надо будет тактично убедить в этом Кальтенбруннера.

– Зачем? – после паузы спросил Мюллер. – А если он хочет, чтобы Штирлиц был нечестным? Зачем его разубеждать? В конце концов, Штирлиц ведь не из нашей конторы. Он из шестого управления. Пусть Шелленберг попляшет...

– Шелленберг потребует доказательств. И вы знаете, что его в этом поддержит рейхсфюрер.

– Почему вы, кстати, не полетели с ним в Краков прошлой осенью?

– Я не летаю, группенфюрер. Я боюсь летать... Простите эту мою слабость... Я считаю нечестным скрывать это.

– А я плавать не умею, воды боюсь, – усмехнулся Мюллер.

Он снова начал массировать затылок большим и указательным пальцами правой руки.

– Ну а что нам делать со Штирлицем?

Айсман пожал плечами:

– Лично я считаю, что следует быть до конца честным перед самим собой – это определит все последующие действия и поступки.

– Действия и поступки – одно и то же, – заметил Мюллер. – Как же я завидую тем, кто выполняет приказ, и только! Как бы я хотел только выполнять приказы! «Быть честным»! Можно подумать, что я то и дело думаю, как бы мне быть нечестным. Пожалуйста, я предоставляю вам полную возможность быть честным: берите эти материалы. – Мюллер подвинул Айсману несколько папок с машинописным текстом. – И сделайте свое заключение. До конца честное. Я обопрюсь на него, когда буду докладывать шефу о результатах инспекции.

– Почему именно я должен делать это, обергруппенфюрер? – спросил Айсман.

Мюллер засмеялся:

– А где же ваша честность, друг мой?! Где она? Всегда легко советовать другим – будь честным. А каждый поодиночке думает, как бы свою нечестность вывернуть честностью... Как бы оправдать себя и свои действия. Разве я не прав?

– Я готов написать рапорт.

– Какой?

– Я напишу в рапорте, что знаю Штирлица много лет и могу дать за него любые ручательства.

Мюллер помолчал, поерзал в кресле, а потом подвинул Айсману листок бумаги.

– Пишите, – сказал он. – Валяйте.

Айсман достал ручку, долго обдумывал первую фразу, а потом написал своим каллиграфическим почерком: «Начальнику IV управления обергруппенфюреру СС Мюллеру. Считаю штандартенфюрера СС фон Штирлица истинным арийцем, преданным идеям фюрера и НСДАП, прошу разрешить мне не заниматься инспекцией по его делам. Оберштурмбаннфюрер СС Айсман».

Мюллер промокнул бумагу, дважды перечитал ее и сказал негромко:

– Ну что ж... Молодец... Я всегда относился к вам с уважением и полным доверием. Сейчас я имел возможность убедиться еще раз в вашей высокой порядочности, Айсман.

– Благодарю вас.

– Меня вам нечего благодарить. Это я благодарю вас. Ладно. Вот вам эти три папки: составьте по ним благоприятный отзыв о работе Штирлица – не мне вас учить: искусство разведчика, тонкость исследователя, мужество истинного национал-социалиста. Сколько вам на это потребуется времени?

Айсман пролистал дела и ответил:

– Чтобы все было красиво оформлено и документально подтверждено, я просил бы вас дать мне неделю.

– Пять дней – от силы.

– Хорошо.

– И постарайтесь особо красиво показать Штирлица в его работе с этим пастором. – Мюллер ткнул пальцем в одну из папок. – Кальтенбруннер считает, что через священников сейчас кое-кто пытается установить связи с Западом: Ватикан и так далее...

– Хорошо.

– Ну, счастливо вам. Валяйте-ка домой и спите сладко.

Когда Айсман ушел, Мюллер положил его письмо в отдельную папку и долго сидел задумавшись. А потом он вызвал другого своего сотрудника, оберштурмбаннфюрера Холтоффа.

– Послушайте, – сказал он, не предложив ему даже сесть: Холтофф был из молодых. – Я поручаю вам задание чрезвычайной секретности и важности.

– Слушаю, обергруппенфюрер...

«Этот будет рыть землю, – подумал Мюллер. – Этому наши игры еще нравятся, он еще пока в них купается. Этот нагородит черт-те что... И хорошо... Будет чем торговаться с Шелленбергом».

– Вот что, – продолжал Мюллер. – Вам надлежит изучить эти дела: здесь работа штандартенфюрера Штирлица за последний год. Это дело, относящееся к оружию возмездия... то есть к атомному оружию... К физику Рунге... В общем, дело тухлое, но постарайтесь его покопать... Приходите ко мне, когда возникнут любые вопросы.

Когда Холтофф, несколько обескураженный, но старавшийся эту свою обескураженность скрыть, уходил из кабинета шефа гестапо, Мюллер остановил его и добавил:

– Поднимите еще несколько его ранних дел, на фронте, и посмотрите, не пересекались ли пути у Штирлица и Айсмана.

Информация к размышлению (Даллес)

И гестапо, и абвер, и контрразведка Виши знали, что через Францию в тревожные дни лета 1942 года должен будет проехать какой-то таинственный американец. Служба контрразведки Франции, гестапо и ведомство адмирала Канариса начали охоту за этим человеком.

На вокзалах и в стеклянных зданиях аэродромов дежурили секретные агенты, впиваясь глазами в каждого, кто как-то мог походить на американца.

Они не смогли поймать этого человека. Он умел исчезать в ресторанах и неожиданно появляться в самолетах. Умный, расчетливый, спокойный и храбрый, он обыграл немецкую службу безопасности, контрразведку Виши и чудом пробрался в конце 1942 года в нейтральную Швейцарию.

Человек был высок ростом. Глаза его, спрятанные за блестящими стеклами пенсне, смотрели на этот мир снисходительно, добро и в то же время сурово. Человек неизменно держал во рту прямую английскую трубку, был немногословен, часто улыбался и покорял своих собеседников доброжелательной манерой внимательно выслушать, остро пошутить и, если он был не прав, признать свою неправоту сразу же и открыто.

Вероятно, служба Гимmlера, Канариса и Петена, узнай, кто был этот человек, приложила бы в десять раз больше стараний, чтобы заполучить его в свои руки там же, во Франции, куда немецкая армия вторглась в конце 1942 года, положив конец «суверенной» Франции со столицей в Виши. Этот человек был Аллен Даллес, работник управления стратегических служб²

² УСС (управление стратегических служб) – политическая разведка США в годы войны.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.